

International

Literary

magazine

Алла ДУБРОВСКАЯ АГАМЕМНОН



Алла ДУБРОВСКАЯ
АГАМЕМНОН

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ОВДОГОВА

**Алла
ДУБРОВСКАЯ**

АГАМЕМНОН

**Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2026**

УДК 821.161.1'06(73)-3

Д 797

СЕРИЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована в 2023 році

Дубровская А.

Д 797 Агамемнон. / А. Дубровская — Друкарський двір
Олега Федорова 2026 — 160 с.

ISBN 978-617-8082-37-6

В новую книгу Аллы Дубровской вошли повесть «Агамемнон», диалогия о римском императоре Тиберию, рассказ «Цыпленок пришел в Куд-кудаки» и сборник эссе «Ответный ход».

Автор утверждает, что обращение к истории, это всегда попытка объяснения настоящего времени, обращение к другим авторам, это всегда путь к себе.

УДК 821.161.1'06(73)-3

АГАМЕМНОН

Повесть-миф

Грише Стариковскому

Агеев часто видел одни и те же сны. Сны у него были любимыми и нелюбимыми, мучительными, прихода которых он боялся еще и потому, что не мог их контролировать, а контролировать ему надо было всё, уж такая его натура. Фрик, одним словом. Жена, кажется, давно с этим смирилась, а вот дочь нет-нет да и протестовала. Впрочем, дома видели его редко еще и до войны, а уж когда она, проклятая, началась, Агеев и вовсе исчез с радара. До поры. Так вот, любимым его сном были Кавказские горы, в красу которых он влюбился, как в женщину.

— Там небо такого цвета, — говорил он и замолкал в неумении высказать налетевшее чувство восхищения.

— Ну какого? — иногда кто-нибудь пытался помочь справиться со словами косноязычному рассказчику. — Голубого?

— Оно небесного цвета, понимаешь? — делал только хуже Агеев. — Оно то высокое без конца и без начала, а то висит низко. Давит на голову. Хочется скинуть его с плеч. Ну как-то так. Не могу сказать точнее.

Когда сын прочитал ему про Атланта, он задумался поначалу, а потом стал вставлять, как умел, этого героя в свой рассказ о Кавказе. Мужественность титана, держащего на плечах небесный свод, повлияла на впечатлительного Агеева с такой силой, что он с завидной легкостью одолел книгу для детей среднего возраста «Мифы

Древней Греции», запомнив ее почти наизусть. Оттуда и пришел к нему Агамемнон, которого он полюбил так же сильно, как Кавказские горы. Почему именно царь Микен вызвал такое предпочтение, неизвестно. Известно только, что майор Агеев взял позывной «Агамемнон» на той проклятой войне, с которой были связаны его нелюбимые мучительные сны. Над необычным словом прикалывались даже в дивизии. Не все могли выговорить его с первого раза, сокращая на свой лад и рифмуя с более привычными словами. Дело дошло до полковника Куликова. «Это что еще за позывной у вас, майор?» — скорее с любопытством спросил начштаба. Услышав про микенского царя, махнул рукой: «С нетерпением жду появления Одиссея». Полковник был не лишен чувства юмора. Позывной оставили за Агеевым, прозвав его за глаза Агамемноном.

Но вернемся к снам нелюбимым. Начинались они поразному, то со взрыва, разрывающего барабанные перепонки, и крика «Прыгай, майор, прыгай!», то с полыхнувшей вспышки и жара, от которого он просыпался в поту. Жена приносила ему попить холодной воды с таблеткой, прописанной еще в госпитале, куда он попал после крушения вертолета.

А дело было так. В штабе полка майор Агеев славился своей занудностью и пунктуальностью. Перед штурмом Грозного у него имелась даже карта города и окрестностей, чем похвастаться могли немногие, да и сводки его были всегда последними и полными. Как ему это удавалось? Скорее всего, он просто знал свою службу. Короче, Куликов его ценил. О пунктуальности майора знали все, а о его потаенной любви к древнегреческим мифам — никто. Тем ранним зимним утром, накануне Нового года, когда солнце наконец пробилось сквозь

низкое небо, у Агеева, выскочившего из «уазика» на подмороженную колею, перехватило дыхание от вида мерцающего вдали Грозного.

— Ё-моё! Красотища! Прямо как античная Троя!

Можно с уверенностью сказать, что из пятнадцати тысяч человек, согнанных на подавление мятежного генерала, никому на ум не пришло это сравнение, да и Агееву довольно скоро пришлось забыть о мифах Древней Греции.

...Так что там Пашка Грачев с бодуна-то говорил? За два часа одним парашютно-десантным полком можно решить все вопросы? В армии министра обороны никто не уважал. Еще в армии не понимали — почему нельзя было договориться с Дудаевым? Мужик-то, вроде, свой, генерал-майор. Летчик. Отличный командир. Награды, то да се. Кто-то умело играл на одной струне ельцинской балалайки, науськивая на чеченца. Хотя... какая у него балалайка, скорее уж контрабас, а у Дудаева труба, правда, нефтепроводная. Он рассчитывал сыграть на ней на пару с контрабасом, да тот уперся: послал Пашку вместо себя. А Пашка — кто? Что он в трубе смыслит? Он только в шашлыках разбирается и только под водочку. Правда, у Дудаева шампанского выпил, в отдельной комнате. Тот тоже глотнул, хоть и мусульманин. Поздно, говорит, если я дам уступку, меня убьют, другого поставят, совсем отмороженного, резня начнется на всем Кавказе.

Вот и не договорились. «Значит, война, Джохар? — Значит, война, Павел».

Почему, ну почему Россия всегда начинает войну, не подготовившись, не продумав, не скоординировав действия всех частей, бросая на смерть необученных мальцов?

Майор Агеев вошел в Грозный со вторым батальоном мотострелкового полка накануне Нового года. Сидя в кабине «Урала», он вертел головой, вписывая в карту города названия улиц, которых почему-то там не обозначили, не были расставлены и блокпосты, помеченные в карте крестиками. Когда пошли разрушенные, в дырах от снарядов дома и подбитые танки, преградившие путь, колонна встала. Агеев спрыгнул с подножки грузовика. Его берцы просели во что-то мягкое. Мать честная! Он стоял на теле убитого солдата, вмятое в разжиженную грязь. На деревьях и проводах висели куски человеческого мяса, рядом с подбитым танком лежали обгорелые, как головешки, тела танкистов. Здесь был не бой, здесь было побоище. Агееву стало жутко и тошно. Он не смог удержать нутро, выворачиваемое наружу.

Рати, одна на другую идущие, разом сошлись.
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный.
Смешались победные крики и смертные стоны
Воинов губящих и гибнущих; кровью земля заструилась,
Словно когда две реки с гор низвергаясь,
Обе в долину единую бурные воды сливаются...

(Гомер. «Илиада». Песнь четвертая)

Ну что, Паша, решил вопрос за два дня? Чего торопились-то так, не продумали, погнали людей на смерть? Планировали начать операцию в середине января, а полезли в Новый год. Выходит, победил Джохар. Что теперь делать? — Как что? Бомбить. И бомбили. Пашка, говорят, узнав о потерях, впал в запой и не выходил из своего вагончика в Моздоке.

«Твою же мать, — думал Агеев, — Олечке через три года призываться...» И он замирал, не в силах продолжить эту мысль. Зато другая мысль захватила его целиком, мысль о том, как убивать и не быть убитым самому.

Потом эта мысль развилась в другую: убивать так, чтобы как меньше было убитых своих. И эти такие простые на войне мысли противоречили бестолковым приказам, приходящим в полк от генералов и прочего начальства. Лицо Куликова сводило от боли, когда он получал подобные распоряжения. У Агеева, докладывающего полковнику о потерях, нехватке и поломках, лицо становилось таким же. А Грозный меж тем превращался в город-призрак, где вместо домов стояли закопченные стены с пустыми оконными проемами. Остававшиеся жители прятались в подвалах. Как выживали эти люди? А кто говорит, что они выживали? Кто их считал? Сколько их вообще там осталось? Агеев и сам посидел в подвале — потолок, хоть и бетонный, дрожал от взрывов, мог обвалиться в любой момент. Наверху горел дом, от раскаленной железной двери несло таким жаром, что в подвале было не продохнуть. Видя бесстрашие мальцов, он давил в себе ужас, поселившийся в нем в первый день войны. Позднее ужас прошел, да и Агеев был словно заговоренный. Пули его не брали, хотя, может, ему просто везло. Воронка войны затягивала всех больше и больше. В начале весны Дудаев с бандитами ушел из Грозного в горы.

Однажды, когда штаб полка расположился у подножия Кавказского хребта, полковник вызвал Агамемнона к себе. В сакле было мало света: горела единственная лампочка. Там привычно пахло то ли козьим сыром, то ли портянками. На столе лежала карта с помеченными еще утром рукой Агеева аулами, отбитыми у бандитов. Полковник начал с ходу:

— Село Ведено знаешь?

— Так точно. Вотчина братьев Басаевых, — ответил майор, а сам скосил глаз на фигуру, сидящую в тени, в камуфляжной форме без знаков отличия.

— Саперы там уже отработали, ребята прошлись по зинданах, вытащили пленных, а в одной яме нашли подарок: тридцать ящичков героина. Неплохой бизнес братцы наладили, — продолжил Куликов. — Человек ты надежный, я тебя капитану рекомендовал для секретного задания.

Тут заговорил то ли гэрэушник, то ли эфэсбэшник (кто их разберет в камуфляже). Зато интонация у тех и других всегда одинаковая, не терпящая возражений.

— Груз уже идет сюда в сопровождении лейтенанта Еременко. Погрузите на Ми-8, доставите в «Северный», перекинете на борт, уходящий в Ростов-на-Дону. Вернетесь на той же вертушке. Учтите еще раз: груз секретный.

У лейтенанта Еременко единственный верхний зуб во рту был железный, а снизу торчал неровный и прокуренный заборчик. Это не помешало ему широко и дружелюбно улыбнуться Агееву. Вдвоем они быстро покидали ящики из грузовика в раскрытое брюхо Ми-8. Накрытый брезентом груз смотрелся сиротливо в просторном отсеке вертолета. Кроме лейтенанта и Агеева там больше никого не было.

— Ну что, мужики, по коням!

Загремели, завертелись лопасти вертолета. У Агеева сдавило голову то ли от шума, то ли от шевельнувшейся тревоги. Ну не любил он ситуации, которые не мог контролировать, а тут была именно такая. Хотя... сколько их уже было, этих неподконтрольных ситуаций. Вся война была такой. Он с завистью поглядывал на Еременко, открывавшего банку тушенки. Не жрал, мол, с утра. Запах съестного смешался с запахом бензина и еще чего-то технического. Лететь предстояло не меньше часа. Чтобы немного расслабиться, Агеев прикрыл глаза, задремал и не видел, да и не мог видеть то, что увидел командир экипажа: вспышку от выстрела ракеты. Вертушка успела резко уйти в сторону, ракета прошла по касательной и потом взорвалась.

— Вот оно! — промелькнуло у Агеева.

Потом был еще взрыв, дым заполнил отсек. Вторая ракета попала в хвост, падая, вертолет закрутился. Пламя сжирало машину. Еременко успел рвануть сдвижную дверь.

— Прыгай, майор, прыгай!

— Как прыгать-то? У меня ж парашюта нет!

— Да низко тут! Сгруппируйся, приземляйся на обе ноги! Давай, пошел!

Еременко вытолкнул его из проема и прыгнул следом. Агеев подтянул колени к груди и комом повалился вниз. У земли ему удалось вытянуть ноги вперед. Он удара и боли он потерял сознание.

Его разбудил ветерок, пробежавший по небритой щеке. Впрочем, он не совсем был уверен в том, что проснулся. Как бы там ни было, над ним склонился воин из книжки «Мифы Древней Греции» для детей среднего школьного возраста. Агеев сразу распознал Агамемнона.

— Я что, умер? — выяснение обстановки всегда была главной тактической задачей майора.

— Не вполне, — уклончиво ответил Агамемнон.

— А как второй? Еременко? Со мной еще лейтенант летел.

— Вот он умер. И весь экипаж. Так что тебе одному повезло.

Агееву стало жалко летчиков и Еременко. Особенно Еременко. Он вспомнил его улыбку с железным зубом во рту, веселый говорок, с которым тот уминал тушенку из банки. Ну что за мерзость эта война. И зачем ее начинают? У греков всё понятно было — из-за прекрасной женщины, а тут — говорят одно, на деле совсем другое.

Агамемнон словно прочел его мысли:

— Все войны — происки богов, а человек — игрушка в руках рока.

— Это верно, — согласился Агеев, хотя не верил ни в богов, ни в рок, но не спорить же с явившимся к нему великим героем.

— Берегись женщин, майор, — изрек Агамемнон и исчез.

«Чего он приходил-то?» — подумал Агеев и снова провалился то ли в сон, то ли в странное состояние между жизнью и смертью, из которого еще можно вернуться, но которое нельзя описать.

Тело Агеева продолжало жить, он дышал, когда его подобрал вертолет, посланный на поиски рухнувшей вертушки. С аэродрома «Северный» в Грозном, куда он должен был доставить ящики с героином, его самого отправили во Владикавказ. Там, в военном госпитале, врачи решили, что стоит побороться за его жизнь. Агеев, вернее его организм, оказался живучим. Через две недели он очнулся. Тогда-то и начались невыносимые боли, от которых спасали уколы, вводившие его в странное состояние полубреда-полусна. Он вплывал в голубое пространство, заполненное безмятежным небом и волнующимся морем. Иногда до его слуха доносилась непонятная речь и поскрипывание уключин. Еще там, где-то вдалеке, виделся город, обнесенный высокой зубчатой стеной тревожного красного цвета, а однажды он услышал голоса. Говорили двое, вернее, спорили. Агееву даже показалось, что они бранились, крепко бранились.

— О чем базарите, мужики? — поинтересовался Агеев и открыл глаза.

Агамемнон:

«Сколько ни доблестен ты, Ахиллес, бессмертным подобный, Хитро не умствуй: меня ни провесть, ни склонить не успеешь. Хочешь, чтоб сам обладал ты наградой, а я чтоб, лишенный, Молча сидел?»

Ахиллес:

«Царь, облеченный бесстыдством, коварный душою мздолюбец!
Кто из ахейн захочет твои повеления слушать?

Кто иль поход совершит, иль с враждебными храбро сразится?
Я за себя ли пришел, чтоб троян, укротителей,

Здесь воевать? Предо мною ни в чем не виновны трояне...»

(Гомер. «Илиада». Песнь первая)

Открыв глаза, майор Агеев в одно мгновение пере-
неся из-под стен легендарной Трои в общую палату во-
енного госпиталя. В палате стоял тяжелый дух от скопле-
ния изувеченных тел, испражнений, незаживающих ран.
Возле него хлопотала немолодая санитарка с лицом про-
стой русской женщины, испещренным добрыми мор-
щинками.

— Проснулся? Ну и хорошо. А то все «ага» да «ага».
Вроде соглашаешься с кем-то, только кивнуть не можешь.
Давай-ка, я тебя на другой бочок переверну, простынку
подтяну, а то намучаешься потом с пролежнями-то. Вот так.

Руки санитарки делали то, что им было положено
делать. Агеев расслаблено поддавался этому действию,
слушая ее причитающий голос.

Постепенно боль стала терпимее. Когда перестали
колоть морфин, видения исчезли. Переломанные ноги и
ребра потихоньку срастались, подживали ушибы, внут-
реннее кровотечение остановил хирург, прокопавшийся
в его кишках пару часов, еще была пересадка кожи на об-
горевшей голове, теперь уже навсегда лысой. Потом
Агеева поставили на костыли. Приноровившись кое-как,
он медленно тащил свои загипсованные ноги мимо кро-
ватей с лежачими пацанами, которым повезло меньше,
чем ему. Чего тут только не было: ампутации, контузии,
пулевые ранения. Танкисты лежали с ожогами. Жалость
к искалеченным молодым людям не пробуждала в нем

тревожащих душу мыслей. У него вообще с мыслями стало плохо. Они путались. Известие о заложниках, взятых Басаевым в Буденновске, он встретил равнодушно, словно после перенесенного собственного страдания в нем вымерло сострадание к людям, хотя он не забыл Басаевское село с зинданами, ямами по четыре метра глубиной, откуда вытаскивали военнопленных. Помнил и надпись «Русские! Не уезжайте! Нам нужны рабы!» на стене дома в Грозном. Но всё это будто не касалось его. Так же равнодушно он встретил прикатившую в госпиталь жену Клавдию, сообщившую много неприятных новостей. Закрылась ее фабрика, выпускавшая покрывала и коврики. «Так она ж приватизированная», — удивился Агеев. «Что они там проворовались, каким-то хмырям фабричку нашу продали, нас пинком под зад, — хныкала Клавдия. — Работы нет, денег нет. Ни хера нет». Агеев безучастно скользил взглядом по ее, когда-то любимому и вдруг ставшему некрасивым лицу. Какое отношение к нему имела эта женщина? Он ее не хотел.

— Ну ты чё, оглох что ли? — возмутилась, наконец, Клавдия.

— Как малые? — выдавил Агеев.

Лучше бы не спрашивал.

— Элке в школе дали американское угощение: одно мороженое на двоих. Как они его там по очереди лизали, не знаю. Пришла домой вся в слезах, — затрещала Клавка. — У Олежки прохудились последние ботинки. Учиться не хочет. Нашла у него клей в сумке. Говорит, не его.

— Зачем ему клей? — удивился Агеев.

— Так нюхают! Пакет на голову — и звездочки в глазах.

Это неприятно поразило Агеева, особенно — пакет на голове.

После всего увиденного на войне, да и здесь, в госпитале, жизнь на гражданке отошла настолько далеко, что была почти незримой, Агееву не хотелось туда воз-

вращаться. Сын явно отбился от рук, Клавдия не справлялась, его офицерского жалованья не хватало, но почему она так вяло проявила сострадание к его ранам, не поняла, что он почти умер? Только и сказала «смешной какой», глядя на его лысый череп, покрытый розовой кожей. Это задевало больше всего. «Все о своих делах тарыхтит, — с раздражением думал он. — Хоть бы глянула вокруг, сколько мальцов покалеченных лежит». Но и сам он не увидел ее раздрызанную обувь, не обратил внимания на задрипанный свитерок под больничным халатом, отвел глаза от постаревшего лица с обвисшими щеками, на которых когда-то лукавились ямочки от хитровой улыбки.

— Как жить дальше, не знаю, — продолжала нить Клавка.

— Как все, так и мы! — сорвался Агеев. — Ты бы видела, как люди в подвалах живут под бомбежками. И ниче! А я видел, вечером старик с бидоном вылез водички набрать и на растяжку наступил по неосторожности. Только клочки в разные стороны полетели. Женщины потом за ним пришли, ни одна руки на заламывала «как жить, как жить?» Собрали потихоньку что осталось и у дороги закопали.

Клавка торопливо перекрестилась.

— Жуть какая!

Но тут же переключилась на свое:

— Я это, Слава, хочу бизнес открыть.

Агеева аж передернуло:

— Ну какой еще бизнес? Поумней тебя люди прогорают, теряют последнее. Лучше работу какую-нибудь пощи...

Он говорил что-то еще, но всё летело мимо, не оседая в Клавкиной голове. Она только поджимала губы и глядела в сторону, пережидая, когда он закончит. «Всё

бы ему командовать, чтоб всё по-евонному выходило, чтоб под его контролем было», — с ожившей старой злобой думала она.

...Вопрос о реабилитации решился просто и как будто сам собой: домой в Самару он не поедет, а будет восстанавливаться в специальном центре в Ростове-на-Дону.

Южное осеннее солнце припекало, но Агееву было приятно это тепло. Он блаженствовал, сидя на скамеечке в садике при военном госпитале. Рядом сидели стратеги и тактики, политики и дипломаты в шлепанцах на босу ногу и в синих пижамах. Разговоры велись со знанием дела, неторопливо, правда, иногда кто-то начинал горячиться, вставляя сочное словцо для подкрепления набежавшей мысли. Чаще всего мысль эта терялась в густом словесном потоке. Полемика не мешала «синим пижамам» провожать жадными взглядами женские фигуры, обтянутые белыми халатиками. «Белые халатики» переносили долетавшие комплименты с улыбками, довольно часто поощрительными. Среди них красотой и доступностью славилась Броня, практикующая массаж и прочие процедуры, прописанные выздоравливающим воинам. Сосед Агеева по палате, капитан-десантник Михальчук, всячески восхвалял ее достоинства, открывшиеся ему на подоконнике в заветном месте. Агеев и сам поглядывал на Броню. Голубоглазая блондинка с высокой грудью и крепкими ногами напоминала ему любимую латышскую актрису Вию Артмане. Михальчук, конечно, помоложе, да и понахальней будет, но если капитану можно, то почему майору нельзя?

На днях Агееву сняли гипс с обеих ног. Врач долго рассматривал снимки, прилепленные к экрану:

— Ну что, майор, где переломы-то были? Не вижу ни деформаций, ни смещений. Мы тебя в балет отправим, только сперва ходить научим.

— Срослись, видать, мои переломы, — выдохнул Агеев с нескрываемым облегчением.

— Класный хирург собирал. Повезло.

Агеев и сам знал, что ему повезло как немногим. Тело праздновало выздоровление, хотело жить. Если оно и болело, то боль эта была приятной. Передвигать ноги после гипса и вправду оказалось нелегко. Отбросить костыли и разом рвануть на своих двоих не получалось. Каждый шаг давался с трудом. Тут и пришла очередь женщин в белых халатиках. Выросшему в интернате Агееву никогда не перепадало столько внимания. С ласковым щебетом его учили ходить без костылей, заставляли напрягать отвыкшие мышцы, плавать в бассейне. В военное время не разгуляешься. Жратва в городе была, но только на местных базарах. Поварихи старались как могли скрасить скудный рацион «господ офицеров», а те и не жаловались. Хлеба давали вдоволь, когда начальство расходилось по домам, за огурцами и водкой всегда соглашалась сбегать какая-нибудь санитарка «звать Тамарка». Она же потом подбирала и пустые бутылки. Утром, если не удавалось опохмелиться, «трубы» заливали компотом из сухофруктов, потом расходились на процедуры.

По ящику, работавшему целый день в комнате отдыха, мужики смотрели в основном футбол. Говорящие головы с новостями мало кто слушал, Агеев, во всяком случае, предпочитал партию в картишки, а тут вдруг заслушался журналисткой, чирикающей о смелости тех, кто отказался ехать на войну в Чечню. «Да что ты, цыпочка, про смелость знаешь? Что ты вообще про войну знаешь, сидя в Москве?» Вон, Егорушкин «козла забивает» — костяшками по столу щелкает одной клешней, вторую ему под Моздоком оторвало аж под корень. Говорит, спасибо танкистам, от чеченов отбили. Михальчуку снайпер пулю под ключицу вогнал, попал бы в артерию —

и кранты капитану. Десантуру вообще гнали как пехоту, а это не их дело, да кто там много думал-то? Война подлая, без линии фронта. Агеев никогда не забудет, как местные завели Куликова с ребятами в засаду: заходите-угощайтесь, мол, для нас гость — святой человек. Многих тогда перебили, хорошо спецназ рядом оказался, помог уйти из гостеприимного дома. Куликову всегда везло, да и ему самому везло, пока героин этот чертов не подвернулся. Если подумать, то всех здесь спасла счастливая случайность: то танкисты рядом оказались, то спецназ. Вот корешу Михальчука не повезло два раза: сначала на фугас наступил, а потом вертушку с его останками сбили. Жене даже гроба не довели. А уж бардак какой, кому рассказать. Агеев занервничал, захотелось покурить. Без таблетки он не засыпал ночами, наваливались кошмары. Да на кого они здесь не наваливались?

Хромая, он вышел в садик. А там Броня с мужиками кокетничает. Увидела его: «Шо же вы, товарищ майор, на массаж ко мне не ходите? Я вас на завтра запишу». И записала.

— Расслабьтесь, ну шо вы такой напряженный?

У Брони певучий южный говор. Она растягивает слова, выговаривая мягкие гласные. Руки у нее сильные, прямо лапы с короткими пальцами, а на пальцах мозолистые подушечки, должно быть, этим рукам приходилось много работать. Она смазывает их чем-то пахучим. Незнакомый запах окутывает растянувшегося на лежанке Агеева. Он блаженствует: его тела давно не касались женские руки. Глаза закрываются сами собой, а когда он их открывает, видит Броню, слегка склонившуюся над его ступнями. При каждом ее движении в разрезе халата колышется большая грудь. Броня прекрасно понимает, ка-

кой эффект производит на неказистого майора. Она знает, что он сейчас скажет, они все это говорят.

— Это... Броня, вы случайно не записаны в городскую библиотеку?

От удивления Броня выпрямляется, заправляет челку, выбившуюся из-под белой шапочки.

— Доця записана. Она мне книжки какие надо носит.

— Понимаете, — продолжает, смущаясь, Агеев, — мне очень хочется почитать что-нибудь о Древней Греции, а в госпитале ничего такого нет.

«Это ж надо! — думает Броня. — Древняя Хреция его интересуется. А с виду обыкновенный мужчина».

— Ладно, — обещает она, закончив сеанс массажа.

Так у Агеева появился томик «Илиады» в переводе Гнедича, который он открыл с каким-то трепетом и прочитал:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...

Нельзя сказать, что он сразу справился с творением Гомера, но возвышенность слога и торжественный ритм повествования околдовали его. Брониной доце пришлось несколько раз продлевать срок, взятой в библиотеке книги. Зато майор прочел ее от корки до корки вместе с предисловием и комментариями, поразивших его не меньше самой истории Троянской войны.

— Удивляюсь я кровожадности этих древних греков, — разглагольствовал он, пока Броня сильными пальцами месила его ослабевшие мышцы. — Вот взять хотя бы отца Агамемнона, это герой такой древнегреческий...

Поскольку Броня никак не проявила любознательности, он продолжил:

— Его Атреем звали. Так вот, Атрей этот убивает сыновей своего брата, мало того, варит из них похлебку, ну что-то вроде харчо. И братца этим угощает.

— Да шо вы такое ховорите? — ужаснулась Броня. — Как ж это можно?

— Даже солнце скрылось с неба, чтобы не видеть этого ужаса. А братец-то заподозрил неладное и говорит: а покажите мне моих сыновей. Где мои мальчики? Ему и показали головы, да ноги мальчиков этих. Тут он возопил и проклял весь род Атреев. Значит, Агамемнон — царь-то царь, но царь проклятый, обреченный на страшную смерть.

Агеев замолчал. Впечатлительная Броня вложила как можно больше нежности в разглаживание мышц его спины. Женская интуиция подсказывала ей, что воцарившееся молчание не нужно прерывать вопросами. И правильно, потому что Агеев в это самое время вспоминал ежик белобрысых волос и закатившиеся глаза на отрезанной голове пацана, совсем салаги, тела которого они так и не нашли, наверное, боевики сожгли его в БТРе, от которого остался один остов. «Что матери посылать?» — сокрушался Куликов. И солнце с неба не скрылось, а заливало грешную землю безмятежным светом.

Мозг Агеева не был приучен к работе над глубокими мыслями. Конечно, он невольно задумывался о смерти, от которой ушел, как колобок от бабушки с дедушкой, понимая, что впереди произойдет неизбежная встреча с лисой. Но по мере выздоровления мысль эта тревожила его всё меньше, поэтому, когда Броня наклонилась над ним и, придыхая, сказала: «Та шо ж вы такой робкий?», он крепко обнял ее и притянул к себе.

— Ну что, Агамемнон, дождался своей очереди? — бог его знает, как Михальчук узнал прозвище Агеева, может, услышал по солдатскому радио, а может, сам допер, хотя это вряд ли.

У Михальчука оттяпана верхняя доля легкого, он уже комиссован и со дня на день поедет домой. Был бы кто другой да в другом месте — получил бы, но на калек у Агеева рука не поднимется, поэтому он молчит. Агеев умеет выразительно молчать. Угрожающе. При всей его неказистости в нем чувствуется сила характера. Хотя — почему неказистости? Ну череп обгорел, лысый совсем. Ну, ростом не то, чтобы не вышел, а не высок; ну нос не греческий, а картофелиной, скулы, скорее, крестьянские. Зато глаза умные, цепкие. И весь он какой-то надежный. Не случайно у него с Броней любовь получилась серьезная, хоть и был он человеком семейным. «А как скажет, так и сделаю», — решила Броня, зная, что скорее всего Агеева признают годным к продолжению службы в рядах российской армии, уж так отлично они его здесь залечили и восстановили. «Как новый стал», — шутила она, обхватывая сильными руками своего возлюбленного. И точно, ранней зимой девяносто шестого Агеев получил указ о повышении в звании и предписание вернуться в родной полк, который уже год как ушел из Чечни.

Рейс на Самару задерживался. Люди разбрелись по залу ожидания, кто-то вышел покурить под навес перед входной стеклянной дверью в аэропорт. Легкий снежок крутился в воздухе, пахло сыростью. Агеев пытался справиться с непонятным волнением: хотелось ему домой или нет? Он еще не докурил, когда к дверям аэропорта подрулил «Мерседес». Окно с тонированным стеклом приоткрылось, к нему подбежал откуда-то взявшийся че-

ловек в кожаной куртке. Как ни напрягал слух Агеев, не смог расслышать, о чем там шел разговор. Через минуту-две «Мерседес» укатил.

— Это кто ж там в «мерсе» сидел? Начальник какой? Не знаете? — Агеев обернулся к мужикам, кучкой стоявших неподалеку.

Видимо местные, мужики с понимаем отнеслись к его любопытству.

— Не, это наш ростовский криминальный авторитет. Его щас прямо к трапу подвезут, видать, скоро посадку объявят.

И точно. Объявили.

Агееву не удалось разглядеть бандита даже в самолете, но перед тем, как погрузиться в свои невеселые мысли, он успел-таки подумать о том, сколько же их развелось... в кожаных куртках.

Опустевший военный городок встретил новоиспеченного подполковника равнодушно. Старые друзья демобилизовались и разъехались, оставшиеся месяцами не получали жалованья. Магазины стояли пустые, зато на центральном рынке было не протолкнуться. Когда Агеев увидел тамошние цены, он понял, что зря покрикивал на Клавдию. Дома в столовой горела одна лампочка, в коридоре со стен обвисли обои, и штукатурка сыпалась на пол; горячей воды не было — спасибо, была холодная; в пустой ванной лежал больной кот. Забрать его оттуда не давала дочка Эллочка. В туалете протекал смывной бачок, и унитаз покрылся коричневым налетом. «Всё так плохо, что уже и унитаза не отмыть», — с раздражением думал Агеев. Сын пропадал где-то целыми днями, с отцом разговаривал неохотно и сквозь зубы. Радовала только Эллочка, щебетавшая, как весенняя пташка. Ночами Агееву не спалось. Лежа ря-

дом с умотавшейся за день Клавдией, он вспоминал горячее тело Брони, а если засыпал, видел Кавказские горы под ослепительной синевой неба или вскрикивал, пугая жену. В своем доме он чувствовал себя чужим. Нужно было что-то делать.

«Игру престолов» не читали? И не надо. В Кремлевском скворечнике своя игра престолов. Телевизор включайте и смотрите. Бесконечный сериал. Вот они, три генерала. Один — фуражку сменил на холхан (папах из барашка). Он и родного языка толком не знал, зато знал наизусть «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я». Наверное, сам понимал, что долго ему не жить: с одной стороны — полевые командиры, с другой — Москва. Кто-нибудь да прикончит... И точно. Спецслужбы ракетой и прикончили. Дудаева не стало, но полевые командиры остались. Приходите, говорят, всэх пэрэрэжэм.

Второй генерал лебедем прилетел из Приднестровья с красавицей женой и овчаркой на поводке. Мир с Молдавией он заключил, грохнув кулаком по столу. Кулак у Лебеда здоровенный, а весу ему прибавила Четырнадцатая армия, стоявшая в Бендерах.

У него и голос громкий, командирский. Россия, говорит, Чечню задавит, если захочет, но есть ли в этом нужда, вот вопрос. Вопрос стал большим и очень болезненным.

Ну, а третий генерал, Пашка-мерседес, даже не мерседес, а козел. Козел отпущения. На него всё и свалили. Ты, мол, эту войну проклятую начал, а как закончить теперь — никто не знает. Так они все говорили. Армия роптала...

Тягостна брань, и унылому радостно в дом возвратиться.

(«Илиада» Гомер. Песнь вторая)

Зевс, перебравший амброзии, молча на Трою взирал...

Кавказский узел затянулся. Кто его разрубит или хотя бы ослабит, тот президентом России и станет. Армию выводили, гробы вывозили, полевые командиры нагтели. Пока остававшиеся в Чечне войска зачищали аулы, в России гремели взрывы. Такой войны там еще не знали. Дальше — хуже. Снова бои в Грозном. Что там от города осталось, сейчас уже никто не помнит. И тут в Кремлевский скворечник влетает ясный Лебедь. Я, говорит, дело с Чечней разрулю, только Пашку уберите, поскольку лебеди с грачами в одной стае не летают. На том и порешили. Грачева убрали, Лебедь подписал с Масхадовым мирное соглашение и остановил войну, но мир не наступил.

А всё потому, что виноград с помидорами — это не нефть с героином.

Разве так не бывает, что ты медлишь и тянешь, все никак не принимаешь решения, от которого зависит твоя жизнь, да и не только твоя, а решение вдруг приходит само собой, просто и непринужденно? Бывает — не бывает, но это именно то, что случилось с Агеевым. С ним связался Куликов, ставший к тому времени генералом. Для начала порадовался на чудесное воскрешение своего подчиненного, вспомнил войну, сказал, что не верит в замирение, что Кавказ бурлит, расспросил про семью. Агеев уже собирался поблагодарить за звонок, когда получил неожиданное предложение:

— Владислав Николаевич, я вот что думаю, а не пойти ли тебе подучиться в академию? Офицер ты деловой, надежный. Мне такие люди позарез нужны. Что с армией делают, видел. Сам понимаешь, какая обстановка напряженная. Повоевать еще не хочешь, Агамемнон?

Агеев замер. Секунда-другая... Минута пошла...

— Предложение интересное, Сергей Иванович, — только и успел сказать, как Куликов тут же подхватил:

— Ну лады! Характеристику мы тебе соответствующую дадим, направление получишь. Готовь документы, вспоминай науку, заскучал там, небось, у себя-то.

Агеев не заскучал, он затосковал. Казалось бы, всё делал как надо: квартиру подремонтировал, с Клавдией отношения наладил, кота вылечил, унитаз отмыл, с Олежкой душевную работу провел — а всё тошно было. Какие-то лохотроны лезли из всех щелей, в телевизоре экстрасенсы нащупывали руками невидимую ауру над головами доверчивых граждан, «пирамиды» то строились, то распадались, банки то открывались, то исчезали, Клавдия то челночила по городам с китайскими мешками в красную с голубой полоску, то стояла на рынке с привезенным добром. Говорила, что доверять никому нельзя. Крышевали ее чеченцы, которые, ясное дело, торговали не только мандаринами. Однажды один из них вдруг заговорил с Агеевым, пришедшим к жене на рынок. Мол, дочка у тебя карошая, подрастет — красивая будет. Кровь ударила Агееву в голову: «Тронешь, убью!» Чеченец понял. Этот язык они понимали лучше всех других. Чувство вины разъедало душу Агеева: он дал в долг деньги, накопленные женой на подержанный «Жигуль». Дал не первому встречному, дал другу. Друг исчез. Пришлось признаться: «Клавушка, мол, так и так, денег больше нет». Клавушка схватилась за край стола и рухнула на пол. Скорая приехала минут через сорок, когда она уже сама немного оклемалась. Глядя в испуганное лицо мужа, склонившегося над ней, она тихо сказала: «Вот так ты меня вгонишь в гроб». «Дык он же поклялся жизнью детей», — виновато замямлил Агеев.

Иногда ненависть так шибала ему в голову, что, казалось, будь у него в руках калаш, высадил бы весь рожок

в наперсточников и прочую мерзость в кожаных куртках поверх треников. Время от времени ему снилась Броня, качающая головой: «Так нельзя, Агамемнон, так нельзя» — а как можно, не говорила.

В родной в/ч спокойно отнеслись к решению Агеева поступать в Академию. Для многих он оставался штабным занудой, при котором разговоры о войне в Чечне не то чтобы замолкали, но сводились к тому, что мы люди, мол, военные, нам приказали — мы выполняли. По сути, так оно и было. Но это было и время развязанных языков, особенно под водку, хоть и паленую, но употребляемую «господами офицерами» в больших количествах. А где ее не употребляли? Таких мест на карте и по сей день нет. Ну кричали, конечно, кто во что горазд. Одни — раньше надо было вводить, давить этих черножопых, чтобы тихо сидели. Другие — да на фиг нам Дудаев этот сдался? Почему ему не дали независимость? Ельцин сам сказал — берите. А на деле что? Х* — и столько людей положили? Грозный размолотили, а бандитов не добились. Были еще и третьи, которые не кричали, а значительно говорили, как будто они знали нечто важное, но сверхсекретное: «Мафия это чеченская с нашей мафией чего-то не поделила». Агеев, рано выпавший из войны, хотел во всем разобраться сам. «Как же меня так заклинило, — думал он, — что мне всё похую было? Ну ладно, в госпитале сам не знал, на каком свете, а потом?» Почему от газет его мутило, почему не мог смотреть телек, особенно, когда там появлялся плешивый человек с вкрадчивым голосом? Агеев его особенно невзлюбил. Такие люди у него не вызывали доверия.

«Ну вот же, вот черным по белому написано о нецелесообразности использования танков в городском бою, — тыкал он пальцем в учебник по боевой такти-

ке. — Они же знали, что танк в городе как слон в яме. Любой пацан выльет с балкона ведро бензина, бросит окурок, и всё!» Подпирая лысую голову кулаками, он ворошил в памяти события той зимы в Грозном. Вспомнил пришедший на его позывной отчаянный голос лейтенанта: «Я прошу два танка, сколько раз, б***, я могу просить два танка? Пожалели, б***! У меня уже двадцать три трупа тут, б***! Ты кто, Агамемнон? Сегодня моего друга убило, у него грудники-близнецы сироты, б***! И кто позаботится о них? Агавнемнон? Петров-Иванов? Ельцин? Никто! Сначала сказали: вышли танки, б***! А потом, х*й вам, б***! С четырех сторон долбили по нам, снайпера, гранатометчики! Ты где окопался там, б***?» Что он мог лейтенанту этому сказать? Что послали им не два, а три танка, только они не дошли? Что сначала боевики подбили первый танк, потом последний, а ребят, кто не сгорел заживо, постреляли снайпера? К лейтенанту тому пошла пара БТР-ов вывезти раненых. Агеев так никогда его и не встретил. Жив ли, нет? Как забыть-то это всё? Да с самого начала ерунда какая-то понеслась. Технику выгрузили в Моздоке и заводили с буксира, аккумуляторы старые разрядились, танки отправили в Грозный с «голой броней» как солдат с голой жопой, без прикрытия пехоты. А какую им задачу поставили? Это ж кому рассказать, когда начальник штаба дивизии по связи говорит, пятой роте — налево, шестой роте — направо! Кто там разобрал у кого право, у кого лево? Вот первый батальон ломанул на всей скорости к вокзалу, чтобы там и остаться, а второму задачу ставили то ко дворцу Дудаева идти, то разворачиваться. Один батальон угробили и на смерть второй послали.

Агеев вливал в себя полстакана водки, чтобы приглушить звучащие в голове голоса, стереть картины, вставшие перед глазами.

Среди ночи, начитавшись учебников и навспоминавшись, он впадал в беспокойный сон. Опять ему снились то горы, то оскал Еременко с единственным железным зубом, то нежная и манящая Броня, с вываливающейся из белого халатика грудью, а однажды снова появился Агамемнон, с которым Агеев с ходу вступил в разговор.

— Ведь у вас как было: верни Парис законную жену Менелаю, Троянская война враз бы и закончилась. Вожди ваши, забыл как их звали, на том и порешили, но тут в дела смертных вмешались боги, а всё из-за тебя.

Агамемнон нахмурился. Морщины залегли меж его царственных бровей, но Агеев не обращал внимания на грозный лик воина.

— Ахиллес, вроде как блатной был, по матери — бессмертный; она хоть сама по себе и незначительная богиня, но доступ к Зевсу имела. Она, значит, и выпросила войну, чтобы греки поняли, что без ее сына у них ничего не получится. Ахиллес для них был как греческое стратегическое оружие. Вернее, древнегреческое. Ничего я придумал, да? — Тут Агеев самодовольно хмыкнул.

— Ну вот. Девять лет вы под стенами Трои простояли, это долго, все окрестности ограбили... Извини, я понимаю, что подвоза не было, грабили по необходимости. На десятый год всем уже в лом, по домам пора, а у богов разборки пошли: одни за вас, другие за троянцев. Короче, ты в курсе, чем дело кончилось. Выходит, исход войны не армия решала, а боги. У меня тут параллель наладилась, понимаешь? Война наша чеченская, государственное это было дело или чей-то личный интерес? Слово «мафия» знаешь?

Агамемнон не знал. Агеев продолжал:

— Или вот еще, какие у вас были воины! Красавцы. Атлеты. Совершенство в мраморе. Понятное дело, война такая была. Копьем в три метра длиной владеть надо, это

же было ваше основное орудие убийства. И у нас тягать надо, но дембеля прыщавые какие-то, многие без передних зубов, узкогрудые. Что им на гражданке делать после войны этой? Убивать они, конечно, научились. На таких сейчас спрос. Может, мне плюнуть на академию, уйти в запас, да и наняться в охранники? А?

Агамемнон растаял, оставив вопрос Агеева без ответа.

Но не таким был человеком подполковник, чтобы отказать от своего обещания, тем более старшему по званию, тем более Куликову. Экзамены он сдал на очное обучение, набрав проходной балл. Жена ехать за ним в Москву отказалась наотрез. Она только-только купила ларек на базаре и наняла челночить одну из своих товаров. Дела у нее, вроде, пошли в гору. Олежка занял родительскую спальню, Эллочка поделила с мамой бывшую детскую. Так что и места стало больше, и отец семейства не на войне, а в столице, правда, в общежитии, но военным людям к неудобствам не привыкать.

Москва всегда оглушала провинциалов. Здесь все обветшалое облетало, а новое пробивалось шумно и бестолково. Эта бестолковость обескуражила Агеева, ему пришлось привыкать к новому ритму и пестроте окружавшего его пространства. Здесь и время вело себя как-то странно: оно то тащилось вслед за стрелкой Кремлевских курантов, то несло вперед, пугая опозданиями пунктуального Агеева. Он долго путался в московском метро, натирал ноги, гуляя пешком по центральным улицам, удивлялся количеству чеченцев, толкавшихся возле припаркованных «бээмвэшэк»: «Это что же, они теперь все сюда подались?» Один раз отстоял час в «Макдоналдс», откуда вышел недовольный: «Клавкины котлеты лучше». Был и на Красной площади, впечатлился видом покойника, но не до слез.

Под окнами общежития Военной академии тусовались юноши со странными прическами, похожими на петушиные гребешки, и обритые наголо девушки с серьгой в носках. Они шумели, прихлебывая кока-колу из стеклянных бутылок или пиво из металлических банок. Один раз Агеев попросил огонька у пацана в джинсах с голым животом. Тот дружелюбно дал прикурить от своей сигареты. Был он с виду совсем цыпленок. «Куда ему, господи, против тех...», — невольно подумал Агеев. Цыпленок решил позадираться: «Папа, я за мир во всем мире!» Он то ли понял взгляд подполковника, то ли слышал что-либо подобное от других. «Ну, молодца», — не пошел на обострение Агеев. Вообще, ему было одиноко в чужом городе. В одно из воскресений он подался на Ленинские горы. Простор, конечно, и дышать можно, но не Кавказ, не горы, а холмы. Наломавшись по красотам, он зашел в соседский почтамт и заказал переговоры с Броней. Так Броня дождалась вызова от любимого. «Та шо ж я там буду делать?» — с придыханием спросила она. «С твоими ручками, лапушка, не вопрос!» И точно, как в воду глядел.

Броня была не только влюблена, но еще и практична. Приехав на недельку в Москву, проведать, что и как, она поняла, что жить надо здесь и больше нигде. А дальше всё быстро получилось: увольнение с проводами и пожеланиями, продажа маленькой, но уютной квартирки, переезд (на годик, не больше) доци к бабушке. Ну и, наконец, комната в Дорогомилово, снятая на ее деньги, куда с чемоданом перебрался Агеев. За новоселье выпили сначала шампанского, а потом, как положено, разлили водочку, закусив селедочкой с картошечкой. Ночью под Агеевым светилось белое лицо Брони с закрытыми глазами, ее большие груди, как две распахнутые створки, колыхались в ответ его требовательным и властным дви-

жениям. Счастье их было тихое, будто они уже прожили вместе много лет. Ручки никогда не подводили Броню, и она быстро нашла работу в салоне.

Лекции Агеев записывал ровным бисерным почерком, так же аккуратно он писал в «Рабочую тетрадь оперативной группы», пока сидел в подвале под обстрелом. Фрик он и есть фрик. Но с компьютером у него не заладилось. Пальцы тыкались по клавише, разыскивая нужные буквы, набранный с таким усилием текст в любую минуту мог улететь непонятно куда. Агеев огорчился, покрывался испариной, заискивающе заглядывал в глаза молодой лаборантки, помогающей «папикам» справляться с новой техникой. Дома Агеев не занимался, чтобы не мешать Броне, но та скучала. Пришлось купить телевизор. И вот не зря же где-то висела рекламная картинка «Телевизор — твоё окно в мир». А из этого окна площадь Красная видна. И не только. Вся Москва как на ладони.

И кого там только не было: монархисты, анархисты, социалисты, националисты, либералы и генералы. Броня любила генерала Руцкого за красоту, а Лебеда не любила, у того не было усов. «Думающая гиря» — впрочем, это не она придумала, а какой-то бойкий журналист. «Гиря» благополучно спихнула ненавистного Грачева — «двум пернатым в одной берлоге не жить» — и полетела во власть. Прямо русский Пиночет, только наивный какой-то, не понимающий, что на гражданке он всегда простая пешка. Агеев Лебеда не любил хотя бы за то, что возле того все время вертелся маленький плешивый человек с большими деньгами, а таких людей подпускать нельзя. Но и Агеев тоже был наивный. Как ни посмотреть, они все тогда были наивными, взять хотя бы генерала Рохлина. Этот генерал был большой и неуклюжий, даже военная форма топорщилась на нем. Услышав по телеку его выступление, Агеев так и замер:

— Армия обижена! Армия унижена! Армия не с теми, кто сейчас у власти!

Прямо на душу легло. А ведь Рохлин — свой мужик, командовал соседним корпусом в Грозном. Про него вообще легенды ходили.

В Академии слушатели тоже шумели: «Наш дом — Россия!» Все туда вступим и за Рохлиным двинем. Куда? На Кремль!»

Не зная на что решиться, Агеев занервничал. Одно понятно, настоящая война на Кавказе еще впереди. И кто там победит (Россия, конечно) — неизвестно. Что-то накапливалось в воздухе, какая-то тревога висела над головами людей, живущих на громадной территории, приходящей в упадок.

Боги! Великая скорбь на ахейскую землю приходит!

(Гомер. «Илиада». Песнь первая)

Иногда Агеев думал о том, как быстро пронеслась та часть его жизни, когда ни о чем не надо было думать. Интернат, военное училище, выполнение приказов, а если сказать точнее (ведь он любил всё точное) — старательное выполнение приказов. Тогда у него не было предмета размышления. Когда же появился этот предмет? В Грозном? Скорее, в госпитале, где Агеев стал просыпаться от настигающей его сонный мозг мысли о смерти. «Ну и что такого, — говорил он себе. — Чего пугаться-то?» И он начинал разбираться в своем страхе. Казалось бы, один раз он уже «был там», но в том-то и дело, что он не знал, не мог вспомнить, не мог даже представить, что это означает. Голова Агеева раскалывалась от непосильных стараний. И это пугало его больше всего. Спасение находилось в мелком мусоре забот и любви к Броне. Но прошлое нет-нет да и накатывало: одним утром у дверей

Академии он увидел топчущегося в кроссовочках и куцой куртенке сына. Подмораживало, Олежек явно продрог. «Ты откуда тут?» — только и спросил Агеев.

— Я к тебе...

Агеев вдруг увидел сына маленьким, с детскими кудряшками, торчащими из-за оттопыренных ушек, смотрящим на большого и сильного папу преданными голубыми глазенками. Деловой утренний настрой отступил перед чувством вины. Стало больно.

Куда ж его вести? Дома Броня. Ну и что? Он уже взрослый, поймет.

Отогретый на кухне Олежек поедал всё выставленное перед ним на столе. Броня деликатно удалилась. Агеев не торопился расспрашивать, пусть начнет сам. Но и сын не начинал. Он водил по клеенке указательным пальцем, поглядывая то по сторонам, то на отца. На месте Агеева, человек, склонный к рефлексии, задумался бы сейчас об утраченном смысле прошлой жизни, но Агеев был не таким человеком. Глядя на сына, он удивлялся отсутствию интереса к делам жены и всему, что было с ней связано. Молчание затягивалось, оно уже тяготило обоих.

— Ну, как там мать? — не выдержал Агеев.

Из вдруг полившего торопливого рассказа выяснилось, что бизнес Клавдии процветает, она наладилась строить дом в Черноречье. Есть и хахаль. Агамемнон не стал спрашивать, кто и как. Денег не дают, говорят, должен зарабатывать сам. Школу заканчивать не собирается. И что-то еще жалобное и обозленное. Пока сын говорил, Агеев думал, куда его девать. Переночевать, допустим, Броня постелет ему на полу в кухне. А дальше?

А дальше было вот что: Броня быстро разобралась в ситуации. Конечно, она постелила Олеже на полу в кухне — не выгонять же мальчика на улицу, но не для того она отправила свою доцю к бабке, чтобы прикармливать чу-

жого говнюка. Утром, когда озабоченный подполковник ушел изучать тактику ведения ночного боя, Броня дала пасынку денег на билет в Самару или «еще куда». Олег, вяло ковыряющий яичницу, вдруг ожил и благодарно заулыбался, рассовывая деньги по карманам. Понимала ли Броня, что ни в какую Самару он не поедет? А то нет! Была, правда, опасность, что, потратившись, «сыночек» снова появится на пороге, но Броня знала, что боевые задачи нужно разрешать по мере их поступления. Ее простая тактика называлась «там видно будет».

Агеев воспринял отъезд сына с некоторым облегчением, но и с затаенным беспокойством, заставившим его связаться с Клавдией. «А я думала, он у тебя, — скорее с удивлением, чем с тревогой сказала та. — Ниче, объявится, никуда не денется», — и перевела разговор на темы, не интересующие Агеева. Хорошо, что хоть Эллочка при ней. Доченьку он любил и хотел взять в Москву на каникулы, но для этого требовалось согласие Брони. «А что, если привезти сразу двух девчонок? Вот было бы гарно», — размышлял Агеев. Но всё понеслось и сложилось совсем не так, как ему хотелось.

Начать с того, что незадолго до Нового года дежурный по Академии вызвал его к телефону. Звонил генерал Куликов. И как-то так вышло, что Агеев позвал генерала в гости, а тот охотно согласился. Куликов явился с коньяком и коробкой шоколадных конфет, в костюме-тройке, весь какой-то напомаженный, пахнущий дорогим одеколоном. Агееву стало неловко за свои домашние тапочки и выпирающий живот, зато Броня встретила гостя в платье, обтягивающем ее ладную фигуру, всем видом демонстрируя абсолютное счастье знакомства с таким важным гостем. Куликов с ходу оценил ее слегка переизвешую красоту.

— Броня? Редкое имя, а как по бабушке?

— Ну зачем по бабушке. Зовите Бронислава, если хотите, но мне привычнее откликаться на Броню. А назвали меня в честь бабки, она была из поляков. — И Броня лебедушкой проплыла на кухню за холодными закусками.

Когда до них дошло дело, мужчины уже переговорили об успехах Агеева в Академии (никаких особых успехов не было), стоимости квадратного метра площади в центре Москвы и прочих темах, предшествующих главной части программы: разлива спиртного по рюмкам и бокалам, раскладывания салата по тарелкам, тоста, и закусывания с неперенными похвалами кулинарных способностей хозяйки. После первой рюмки, крылом позвавшей вторую, разговор заметно оживился. Стала упоминаться Чечня и кое-какие неизвестные Броне имена. Куликов вдруг спросил Агеева, не интересуется ли он нефтью. Какой-то огонек вспыхнул в глазах Агамемнона (генерал, смеясь, припомнил это прозвище), но и быстро погас. Не интересуюсь. А что? Да так. Нефть сейчас у всех на уме. Зная своего бывшего командира, Агеев понял, что вопрос был задан не случайно, но расспрашивать не стал. Само всплывет, когда настанет время. Они допили бутылку коньяка, перешли к «Столичной», и Агеев рассказал генералу о сыне — исчез, мол, парень. Не знаю, где искать.

— Не вопрос, — откликнулся генерал. — Есть у меня кое-какие связи в МВД. Вот тебе телефончик, — он написал номер на пачке Беломора, — позвони завтра. Тебе там скажут что и как.

Тут и Броня подоспела с жареной уткой на блюде.

— Помогите пошукать мальчика, Сергей Иванович, а то мы извелись уже все.

Извелись-не извелись, но «Столичную» допили. Потом Броня пела романсы, красиво поворачивая голову то

в сторону Агеева, то в сторону Куликова. Те заметно охмелели, но выпив цейлонского чайку (подарок благодарной клиентки), немного протрезвели. И уже за полночь распрощались, перецеловавшись в прихожей.

Нефть. Во как! Что, собственно, Агеев знал про нефть? Немного. А что помнил? Горящие заправки помнил. Еще помнил каких-то женщин, продающих банки с желтой жидкостью, старики там тоже стояли вдоль дорог, мальчишки. Наши смеялись, это не моча у вас там, в банках? Зачем моча? Покупай-заправляй, как новый поедешь. Агеев покупал пару раз, заправлял «уазик». Ниче. Старая советская техника была неприхотливой. Еще помнил ямы-колодцы, залитые до краев конденсатом. Это что, и есть чеченская нефть? Сама из земли прет. Залейся. Только это еще не бензин. Однажды в Ханкале напоролась на склад, забитый бочками с бензином. Сколько могли взяли. Агеев хотел сообщить соседям, мол, налетай! Да не сообщил. Почему? Куликов перебил, послал куда-то. И стал Агеев в уме прикидывать, как это до него раньше не доперло, что Куликов-то еще в Германии руку набил, когда, выходя, дербанили всё, что могли, причем, вагонами. Он сам-то мелочевку сербу загнал: личный ТТ. Что если у Сергея Ивановича размах был покруче? Потом в Самаре всё и началось, в смысле обидной бедности с никому ненужностью. Вот вам и «Армия унижена. Армия обижена». На свою зарплату Агеев мог купить Броньке пару трусиков. Тоненьких таких, как их? Стринги. Ну еще ерунду какую-нибудь. Хорошо, Клавдия поднялась, понимает ситуацию, но он же должен на детей посылать хоть что-то.

Так что там про нефть? Агеев пошел в читальный зал за подшивкой газет. Только карандашик наточил, статью нашел про нефтепровод из Каспия через Грозный, как в

дверь просунулась голова дежурного: подполковника Агеева к телефону. Так вызывают, когда звонит высокий чин, ясное дело какой. И точно! Опять Куликов. «Чего же ты хочешь, Сергей Иванович?» — не сказал Агеев.

— Свободен? Выходи через десять минут. Есть разговор.

Куликов подкатил на служебной «Волге» прямо к дверям Академии. Но особого разговора в машине не получилось. Агеева почему-то раздражал скрип дворников, смахивающих легкий снежок с ветрового стекла. Ему хотелось скорее домой, за окнами старой легковухи мелькала предновогодняя Москва, а куда они ехали, было непонятно. Генерал всё не начинал. То ли мешал шофер, то ли еще что. На войне Куликов доверял Агееву и вообще казался другим человеком. Правда, помог оформить Олежку в розыск. За любезность надо платить любезностью. Так и вышло.

Уже сидя в маленьком ресторанчике, где-то у черта на куличках, и пропустив первые сто грамм, Куликов наконец сказал, что ему нужно:

— А сгоняй-ка ты, Агамемнон, в Грозный на денек-другой.

Агеев не успел ни подумать, ни ответить — только глянул в покрасневшее лицо своего бывшего начальника.

— Бизнес у меня там есть, сам поехать не могу, а ты человек надежный, проверенный...

Немного льстиво, но верно, таким Агеев и был. Поэтому и стал внимательно слушать. Говорил Куликов не долго, даже карту Чечни на столе разгладил и крестиком нужное место обозначил. Схрон в горах, проводник-чечен. С чеченцами Агеев дел никогда не имел. Какое-то сомнение пробежало по его лицу, которое тут же уловил Куликов.

— За доставку груза оплата в валюте.

Вот это другой разговор.

— Сколько?

— Зависит от успеха. А это для быстрой связи.

На столе появился мобильник. Дальше шли подробности. Впрочем, многое оставалось туманным.

Агееву даже интересно было, кто летит ранним утром из Москвы в Грозный тридцатого декабря. Ну да, в основном торопились домой лица кавказской национальности: женщины неопределенного возраста в черных платках и длинных юбках, мужчины в холхазанах, орущий младенец (вот это Агееву совсем не надо, у него дико разболелась голова), пара военных чинов. Ребенок проорал все два часа полета. Таблетка аспирина, предложенная стюардессой, не спасла Агеева от головной боли. Когда он вышел в зал аэропорта «Северный», вид у него был помятый. Дальше надо было следовать указаниям Куликова, значит, звонить по номеру, вбитому в мобильник. Номер ответил почти сразу: «Жды у киоска с журналами». В зале было многолюдно. Говорили громко, иногда доносилась русская речь. Вокруг новогодней елки бегали дети, люди тащили какие-то тюки, сумки, чемоданы. «Щас отару овец приведут», — злобно подумал Агеев. У него за спиной висел пустой рюкзачок. Было тревожно, лысая голова под зимней кепкой без кокарды раскалывалась от боли. Уж сколько раз бывал он в неподконтрольных ситуациях, а привыкнуть так и не смог. Куликов велел показать схрон на карте чело- веку по имени Иса, а тот должен был отвезти туда Агеева. Иса оказался чеченом без особых примет. Лет под сорок, рожа бандитская. Высокий. На нем ненавистная Агееву кожаная куртка поверх треников и баранья шапка. Сели в «Жигуль». На заднем сиденье еще один. В спи-

ну дышит какой-то кислятиной. Агеев справился с раздражением и постарался улыбнуться дружески, но не заискивающе. Карту достал, на коленке разгладил, Иса даже не посмотрел. Я, говорит, место знаю. Знаешь? Ладно. Поехали. До места ехали часа два, столько же, сколько Агеев летел до Грозного из Москвы. Город изменился, ожил. Сердце Агеева сжалось от узнавания знакомых мест. На улицах люди, кто-то смеется, много детей, как будто и не было войны. Ровно три года прошло. Разве мог он тогда даже подумать, что сядет в одну машину с чеченцами, куда-то с ними поедет, будет им улыбаться. Ему не хотелось ни о чем говорить. Иса спросил, почему мандарины в Москве на базаре и какой обменный курс валюты. Агеев не знал ни того, ни другого. Тогда чечен презрительно замолчал, перекидываясь время от времени словами на своем языке с человеком, сидящим сзади.

На «Жигулях» к схрону было не подъехать. Пришлось идти по тропе, правда, недолго, но пока шли, Агеев сначала успел подумать о том, как хорошо, что он обулся в берцы, а потом и поразмыслить о том, как же выносить то, что в схроне? Как по скользкой тропе на себе тащить-грузить тяжелые и даже очень тяжелые предметы? Ясное дело, им троим это не по силам, а кому по силам, Агеев знать не хотел. Какие там предметы, он догадался, как только Куликов предложил ему слетать в Грозный. Еще ему было неприятно, что к его спине словно прилип второй чеченец и ступает след в след. И уже почти у самого схрона Агеев подумал о том, что открывать его будет непросто. Это же старая заброшенная шахта с чугунными воротами, может, придется подрывать. Вот такой Агеев был думающий и обстоятельный человек. Но мыслительный процесс в его раскаляющей от боли голове уступил место неподдельному удив-

лению, когда он увидел обыкновенный амбарный замок, висящий на ржавых ушках, впаянных в ворота. Иса достал из кармана ключ, открыл замок, потянул створку ворот на себя. Второй чеченец посветил фонариком во всю глубину схрона. Пусто.

— Это что за е***?

— Это же наши горы, да? — оскалился Иса. — Мы место давно нашли, груз вывезли. Спасибо генералу.

Пока он говорил, Агеев увидел несколько разбитых ящичков на полу, знакомые обрывки упаковок, вдавленные круги от когда-то стоявших тут бочек. Уж не тот ли это бензин, который не дал разбазарить Куликов? Хотя нет, тот склад был далековато. Тут, скорее, припасы Северо-Кавказской армии. Ну и за каким его сюда притащили? Вот он, знакомый холодок по спине, а по лицу пот градом. Когда-то он это уже чувствовал. Здесь и оставят... Иса что-то сказал второму и вышел на воздух. Было слышно, как он с кем-то говорит по мобильнику. Вроде, сказал «Агамемнон». Великое безразличие охватило Агеева. Все силы покинули его. В одно мгновение. Он не заметил, как прошла головная боль, не слышал, что говорил ему второй чеченец, он просто медленно, с трудом передвигая пудовые ноги, вышел из темной пещеры и наткнулся на Ису.

— Рэмбо будет работать с генералом. Ты слышишь? Работать будем. Передай генералу. Еще вот. Иди сюда.

Позднее, когда Агеев пытался рассказать о том, что он испытал в тот момент, он просто говорил «жизнь вернулась».

Иса достал из багажника какой-то пакет.

— Возьми. Здесь не все. Рэмбо сказал, что мы сами нашли, могли вообще не платить, но он хочет работать с генералом. Ты понял? Что ты всё молчишь? Испугался, да?

На обратном пути Агеев думал о том, как быстро он, офицер российской армии, оказался втянут в криминал, да еще с кем? С чеченами, бандитами, которых и за людей-то не считал, а считал за врагов. Рэмбо! Это что у них там за Рэмбо? Почему он не записался в «Наш дом — Россия»? Не пошел к Рохлину? Еще он думал о пакете в его рюкзачке. Он даже не знал, сколько там зеленых. Что если его задержат в аэропорту? Перевоз валюты. Кранты. Агеев промолчал всю обратную дорогу, стараясь не раздражаться от клекота незнакомой речи. Расстались спокойно, без эмоций, как малознакомые люди. А кем же они были? На посадке в «Северном» никто не обратил внимания на его рюкзак. В битком набитом самолете (несет же всех в Москву) голова Агеева раскалывалась от мыслей. По большому счету работать в Чечне можно было с наркотикам или с трубой. Из-за суеверия встраиваться в наркотики Агеев категорически не хотел. Вопрос Куликова про нефть все-таки был не случайным. Тогда почему оружие? Сладкие остатки?

Дома его ждала записка от Брони, улетевшей к доце. Стало грустно. Завтра Новый год, а он один-одинешенек сидит на кухне с пакетом валюты. Пересчитать, что ли? Пересчитал. Двадцать тысяч зеленых. Неплохо. Что ж там было в схроне? «Калаши»? «Шмели»? Порванную упаковку от патронов, следы от бочек с бензином или солярой он разглядел. И генерал не звонит. Выжидает. Чеченцы-то, небось, с ним уже связались. Агеев решил немного потомить Куликова. Не то, чтобы из вредности, а из какого-то другого плохого чувства. Уж больно просто тому достанутся двадцать тысяч долларов, но не выдержал и позвонил первым. Куликов обрадовался:

— Чего тебе там одному сидеть, давай ко мне.

«Откуда ему знать, что я один?» — уже на лестнице подумал Агеев.

У Куликова он прожил два дня и многое узнал. Рэмбо оказался полевым командиром Асламбеком Мовсаевым. Как генерал вышел на этого бандита, Агеев спрашивать не стал.

Поле чудес бывает не только в стране дураков. Глупенький доверчивый Буратино зарыл монетки в ямку, чтобы оттуда выросло целое дерево с золотыми денежками вместо листьев. Монетки его украли старые ханыги Кот и Лиса. Вот и в Чечне было свое поле чудес. Зарывали там трубу, говорят, даже на американские денежки, а разрывали и качали из трубы все, кому ни попадя. Не такие уж американцы глупенькие и доверчивые, но не поставишь же охрану вдоль всей трубы, да и охрана в Чечне — та еще. Говорят, подъехал однажды к эстакаде милиционер на белой «шестерке», вышел с канистрами, важный такой. Вытащил пистолет. Хлопнул выстрел, из трубы вырвалось пламя. От машины остался обгоревший остов, от милиционера — ничего. Пепел. Но такой дилетантский подход, слава богу, не у всех желающих отсосать из трубы на халяву. Дыра, в основном, сверлится продуманно, чтобы нефть ровным потоком стекала в отстойник. Там-то и произойдет химическая реакция под названием дегазация и очищение. Когда нефть покроется зеленой пленкой, за ней приедет бензовоз. Такая мелочевка Куликова не интересовала. Не для того он носил генеральские погоны, чтобы заниматься отстоем. Ему нужна была скважина, а лучше — две, причем работающие, а не горящие. Бизнес этот рискованный, но Куликов был человеком знающим, что риск того стоил. Скважина — это только начало, а дальше — бензовозы, блокпосты, цистерны, НПЗ, снова цистерны и уже потом неспешащие танкеры — доставка на дом: нефть заказывали? Платите ваши денежки. Денежек должно хватать всем. А как же? Рэмбо с бандитами задаром охранять скважину, а лучше

две, не будут, ни один блокпост «за так» цистерну не пропустит; цистерна сама по себе ниоткуда не приедет, обогащать ворованную нефть «за спасибо» ни один НПЗ не рискнет. А уж всякие Грознефти, Чеченнефти, Роснефти своей доли долго ждать не будут, и вспыхнет скважина черным огнем, никакой Рэмбо не спасет. Ну и зачем здесь Куликов? А затем, что работать всё это должно бесперебойно. Порядок нужен, а порядок могут обеспечить только федералы. А зачем Куликову нужен Агеев? Курьер ему нужен. Почтальон-доставщик валюты, не через банк же ее переводить. Неприметный такой мужичонка нужен с рюкзачком за спиной или с сумкой, на которого ни один милиционер в любом аэропорту не посмотрит.

Новый 1998 год чета Куликовых встретила вместе с Агеевым. Посидели, выпили, проводили, встретили, посмотрели телевизор да и разошлись по спальням. Агееву дали махровый халат, уложили спать под каким-то балдахинном. На тумбочке возле его кровати позвякивал хрустальный стаканчик о серебряную рюмочку с остатками коньяка. Куликов любил французский. Жена его пила только «Вдову Клико». Агеев пил всё. Покачиваясь на водяном матрасе, он думал о том, чего же еще не хватало Куликову. Квартира на Ленинском проспекте, дом — полная чаша, приятная супруга в брильянтах. Сын учится в Англии, дочь уехала в Париж. Три года назад был начштаба полка, вскакивал к ребятам на БТР, отправлял похоронки матерям — и вдруг такой полет. Не с того ли героина всё началось? Допив коньяк, Агеев поворочался на булькающих волнах и заснул под самое утро. И снился ему любимый сон: Кавказские горы под ослепительным солнцем, и цветочки, пробивающиеся сквозь снег, но сон этот почему-то перешел в другой, нелюбимый, с жарким пламенем за его спиной и криком «Прыгай, майор!»

Броня вернулась с претензиями и вроде завелась на ссору, но смягчилась, увидев три тысячи долларов, разложенные веером на кухонном столе.

— Откуда?

— Да так, дело одно провернул, — уклонился Агеев.

Ему надо было бы сдать экзамены в Академии, чтобы не тянуть хвосты к весенней сессии, но мешали навалившиеся головные боли. Пришлось идти к врачу. Военврач попался серьезный, сразу спросил про контузии и сотрясения. Агеев пожал плечами: «Головой, вроде, не ударялся». Доктор словам Агеева не поверил и отправил на всевозможные просвечивания головного мозга. Ответ пришел неутешительный — опухоль.

— Видимо, голову все-таки ударили. Такая штука просто так не вырастает. Вырезать ее вряд ли получится, так что самое время комиссоваться.

Погоны Агееву были нужны. Пенсия никак в его планы не входила.

— Может, обождем пока с диагнозом, товарищ военврач? — заискивающе замурлыкал Агеев.

Военврач поправил очки на носу, нашел какую-то бумажку на столе и написал карандашиком цифру. Агеев понял и кивнул:

— Окей. Без проблем.

Из веера, разложенного на кухонном столе, пришлось забрать тысячу. «Это надо ж, как быстро всё меняется, — жаловался Агеев пришедшему ночью Агамемнону, — еще год назад меня санитарки выхаживали, говно выносили, на ноги ставили за грошовую зарплату и добрые слова, а нынче за фальшивую бумажку кусок зеленых отжимают». Агамемнон смолчал. Уж не был ли он порождением той самой опухоли в мозгу подполковника?

Экзамены Агеев сдал, вернее было бы сказать — не провалил. Слушателю Академии, которому звонит гене-

рал Куликов, заваливать сессию не пристало, а об этих звонках знали все. Так что к следующему семестру подполковник Агеев был допущен. Ему бы радоваться, но он снова тревожится. Чувствует, складывается очередная неподконтрольная ситуация. На этот раз на кухне, но что еще хуже — в кровати с Броней, ставшей равнодушной к его ласкам и другим проявлениям любви. Оказывается, она могла быть грубой и насмешливой. Поначалу это озадачивало Агеева, но, поразмыслив, он решил, что всему виной столичная жизнь, вызывающая зависть у провинциальной Брони. И в этом была большая правда. Что она видела, кроме ухоженных дамочек в брюликах, приезжающих на массаж в иномарках? Они кидали ей отличные чаевые, но Броне этого было мало. Больше всего на свете ей хотелось небрежно сбросить шубку из белой норки на руки гардеробщика и пройтись, покачивая бедрами, меж столиков самого дорогого ресторана. Бедра были, а мехов с иномарками — нет. Кто был в этом виноват? Убогий лысый Агамемнон, сидящий на ее шее, да еще со своими отпрысками. Они ей надо? Конечно, нет! Агеев всё понял и, собрав вещички, вернулся в общагу Академии. И всё же сердце его ныло, время от времени он украдкой прогуливался возле Брониного салона. Когда ждешь чего-то неизбежного, всегда боишься, что это произойдет. Вот Агеев и дождался, он увидел, как к салону подкатил белый «мерс» с Куликовым за рулем. Выпорхнувшая ему навстречу Броня, плюхнулась на переднее сиденье. Куликов притянул ее к себе, небрежно обхватив за шею. Дальше Агеев не смотрел. «Вона как, товарищ генерал! — застучало в его больной голове. — Б*** она и есть б***. Правильно говорил Михальчук. Ай да Броня! От подоконника в госпитале до генеральского матраса с волнами. Вот ведь порочная тварь! А я-то дурак. Поверил этим... Пристрелить их, что ли?» Упорная

эта мысль засела в его воображении. Он старательно глушил ее водкой, засыпая там, где сидел. Сосед по комнате оттаскивал его обмякшее тело на койку, понимающе разувал и гасил свет. «Пусть подполкан отдохнет. Видать, накопил обиду». И правда, как ни посмотри, денег Агеев не накопил, одни обиды.

Что, Агамемнон, ты сетуешь, чем ты еще недоволен?
(Гомер. «Илиада». Песнь вторая)

Очухавшись от запоя, Агеев стал ждать звонка Куликова, поглядывая на мобильник и размышляя, что ему говорить. С Броней было всё ясно, но с Куликовым они вместе больше года терлись под пулями в Чечне. Когда-то это много значило. С подачи того же Куликова он попал в Академию в Москве, неплохо заработал на странной продаже оружия. Понятное дело, он втянут в криминал, но откуда еще свалятся такие деньги? Теперь вот эта опухоль. Болит-болит его лысая обгоревшая голова. Кому он нужен такой? Агееву стало не просто одиноко, ему стало сиротливо. Кто у него остался-то? Жена? И он бросился звонить Клавдии, подолгу расспрашивая ее о жизни. Та подробно посвящала его в строительство дома, свой бизнес, которым гордилась, в успехи Элочки, ставшей красавицей: «Нет отбоя от женихов, а девке только четырнадцать. Олежа так и не вернулся — но я чувствую, он живой...» «Как же можно было забыть о семье? — корил себя Агеев. — Вот черт попутал, вернее, чертовка». Он обещал Клавдии приехать весной.

Но как говорить с Куликовым? Сказать ему всё, что накипело на душе или промолчать? Если сказать, то что? Я к тебе со всей душой, а ты? Мы с тобой в Грозном тушёнку из одной банки жрали, а теперь я нищий, а ты богатый? Мы с тобой этих бандитов били, а теперь ты им оружие продаешь? Нет, этого сказать он не мог. Не такой

уж он прямой и бескомпромиссный. Не ему мораль читать. Поэтому, когда Куликов наконец позвонил на мобильник, Агеев говорил с ним сухо и по делу.

Ясным апрельским утром они встретились в каком-то скверике: подтянутый и бодрый Куликов в щеголеватом гражданском прикиде и опухший, в старом камуфляже Агеев. Как ни в чем не бывало. Просто давно не виделись. Поулыбались — и сразу к делу, присев на скамеечку.

— Ты дома давно не был? — начал генерал.

— Собираюсь, недели через две.

Тут Куликов обрадованно вскинулся:

— Надо бы пораньше поехать. Передача есть местному человеку. Согласен?

Агеев кивнул и выслушал полный инструктаж: сегодня взять портфель из ячейки камеры хранения Казанского вокзала. Что внутри, сказано не было, но Агеев и сам смекнул: деньги. Опять зеленые. Сумму знать не полагалось. Там же будет билет «туда-обратно». Уже в Самаре, выйдя с поезда, заложить портфель в ячейку с тем же московским номером. Сразу отзвониться и сесть на поезд обратно в Москву. Расчет по возвращении. Всё.

Агеев опять покивал, поднялся со скамейки, но руки не протянул. Протянул Куликов, пришлось пожать.

— Привет жене, — осклабился Агеев.

Что-то промелькнуло в лице Куликова, но он быстро справился и заулыбался.

— Передам. Ну, бывай.

На том и разошлись.

«Что же это у него в Самаре? — раздумывал Агеев. — Неужели вышел-таки на нефтянку? НПЗ там стоит мощный, туда маленьких не пускают. Может, только подбирается. Уверенный такой, что я безотказный». Уже на вокзале Агеев рассматривал билет до Самары с от-

правлением на следующий день. Что, если сделать по-своему? Он купил билет на ночной скорый, отходящий через пару часов.

Клавдия удивилась, но услышав серьезный голос мужа, обещала встретить, не задавая лишних вопросов. И всё же не удержалась:

— Дочке-то подарков привезешь?

— Посмотрим, Клав, я и сам пока не знаю. Это неожиданная поездка, от меня не всё зависит.

В купе, завалившись головой на портфель, он вдруг почувствовал, как понеслось время, словно сорвалось со всех тормозов, словно оно мчится, опережая поезд, отстукивая оставшиеся часы жизни его вытянутого тела. Откуда? Куда? Зачем? Откуда? Куда? Зачем? «Сам не знаю, сам не знаю», — впал в тревожную дремоту Агеев.

Утро еще не разыгралось, когда московский скорый подошел к перрону самарского вокзала. Небольшая толпа быстро разошлась в разных направлениях. На выход Агеев не пошел, ноги сами повели его к ячейкам камер хранения. Вот нужная. Занята. «А ну, попробую», — он набрал код, сработавший в Москве. Не открылась.

«Ну и че?» — он и сам не знал, зачем ему нужен был этот подход. Любопытно было, что ли? А ну как грохнут тут же на вокзале? Агеев скосил глаза на скучающего неподалеку мента. Вроде, спокойно. Он знал это обманчивое спокойствие, когда внутри всё дрожит. «А чего дрожать? Сказано — завтра. Выполняй инструкцию и не лезь, куда не надо», — подбадривал себя Агеев. Навстречу ему уже шла Клавдия. Лицо ее было какое-то неразглаженное, застывшее в недовольном выражении. Увидев мужа, она растянула губы в улыбку, глаза ее, меж тем, оценивающее ощупали портфель и заросшую щетиной физиономию мужа. Какой это офицер? Бомж. Вид Агеева привлек и внимание патруля, топчущегося в зале ожидания. Старлей с красной повязкой на рукаве козырнул, лениво

заглянув в военный билет подполковника — «Здравия желаю!» Клавдия заметила, что Агееву, напрягшемуся поначалу, как-то полегчало. опережая вопросы, он потащил ее к ларьку с игрушками:

— Погоди маленько. Дай-ка я Элке куплю того зайца.

— Она сапоги на платформе носит, а ты ей зайца покупаешь.

Но зайца купили, розового и ушастого. Такой сидел на компьютере у лаборантки в Академии и всем нравился за обаяние. Понравился он и Эллочке, с криком бросившейся на шею отцу.

— Какой классный заяц!

— Ты и сама классная!

И правда, из примерной девочки с хвостиком на макушке, она превратилась в одну из девушек, сидящих под окнами его общаги: черный лак на ногтях, торчащий в разные стороны ежик фиолетовых волос. Не хватало кольца в носу.

— Это че теперь, и таких в школу пускают?

— Ой, да у нас все такие. Есть еще хипповее, чем я. Ты там в Москве совсем от жизни отстал.

Ему послышался упрек в голосе дочери, а может, только показалось, потому что чувствовал он себя кругом виноватым. Вот и сына потерял. На кухне запахло слегка подгоревшими оладьями, Олежка называл их «оладушки». Заболела, заныла душа у Агеева. Тяжело давалось возвращение домой. В ванной первым делом он увидел знакомую трещинку на зеркале — всё собирался, но так и не купил новое. Лицо — да, заросшее. Постарел, однако. Кому он такой нужен? Ну не Броне же. Клавдии? В шкафчике предательски торчал оставленный кем-то помазок для бритвы. Агеев всегда брился электрической бритвой. Да, не Пенелопа. «Ну и ты не Одиссей, — усмехнулся Агеев. — Ладно, потом разберемся ху из ху».

— Ты там уснул, что ли? — заколотила в дверь ванной Клавдия. — Руки помой, да и ладно. Я тебе баньку истоплю на даче. Дом посмотришь, правда, недостроенный, но банька там стоит прям на берегу речки. Я стоко денег в нее угрохала. Попаришься и сразу охладисься.

Запах дома — родной запах. Агеев узнавал все его оттенки. Вот он сел на всегдашнее свое место за кухонным столом, вот его кружка, из которой он всегда пил чай, масленка с отбитым краем, вот кот закрутился у него под ногами, ластьясь и выпрашивая кусочек колбаски. Вот дочка ковыряет вилкой запеканку. «Совсем есть перестала. Фигура у нее... — сетует Клавдия, любовно поглядывая на Эллочку. — Ты в школу идешь или будешь копать-ся здесь до первого звонка?» Дочка убегает, вильнув задиком в короткой юбочке. У нее и впрямь сапоги на платформе.

Агеев разомлел от рюмки водки, доел яичницу прямо из сковородки, не потому что не дали тарелку, а потому что так вкуснее собирать хлебом жир, растекшийся от кусочков сала. Вот он уже проваливается в глубокий сон на старой своей кровати, с которой Клавдия сдерживает невиданной красоты покрывало (вьетнамка золотом вышивает, продаем нарасхват) и старый кот, верный Аргус, уютно устраивается у него в ногах.

И пока он погружен в глубокий доверчивый сон, Клавдия пытается открыть портфель. Она не из тех женщин, кто шарит по карманам мужей в поисках зажатой заначки. Агеев никогда не таил от нее денег. Другое дело, денег у него просто не стало. Бедность, грозившая перевалиться в нищету, возродила в Клавдии потаенные чувства зависти и злобы, затмившие все другие качества ее несложной натуры. Когда-то она была обыкновенной круглолицей девчонкой с ямочками на щеках, выскочившей замуж за курсанта. Потом стала офицерской женой, принявшей на себя скуку и тяготы гарни-

зонной жизни. Что пришло потом после «потом», она и сама и не знала, но Агеев стал раздражать ее. Если бы какая-нибудь поднабравшаяся жена капитана или майора, сподобилась бы ей сказать: «Ну че ты бесишься, мужик-то у тебя неплохой», — она бы передернула в нервном несогласии плечами: «Любовь прошла, завяли помидоры».

Они бы выпили еще, и Клавка бы продолжила:

— Дети его любят. Это да. Особенно малая. Она его фриком зовет, и то ласково.

— Фрик — это че? — Не разберется со словом жена капитана или майора.

— Ну... типа дурак совсем, — затянется сигареткой и стряхнет пепел мимо пепельницы Клавка.

Только все эти пьяненькие разговоры не имеют никакого отношения к тому, как сейчас Клавка шарит по карманам мужа в поисках маленького ключика. Надо же открыть этот несчастный портфель. Ведь не случайно так неожиданно свалился на ее голову Агеев, не случайно напрягся, когда его остановил патруль, не случайно уедет на следующий день. Ключика нет. Что делать? Клавка прикрывает дверь и выбегает на лестничную площадку. Теперь надо унять колотящееся под горлом сердце, справиться с дрожащими руками. Всё тихо. За дверью напротив слушают прогноз погоды по телеку. За другой — тявкнула и замолчала собака. Она быстро семенит по лестнице вниз, прямо в тапках летит через двор в подъезд напротив. Теперь — четвертый этаж (естественно, без лифта) и длинные требовательные звонки в дверь, обитую дерматином. «Ну проснись ты, проснись!» Она открывается — эта дверь. «Ты че, Клав?» На пороге хахаль Жорик, по паспорту Егор. У него заспанный и недовольный вид. Жорик из своих, из гарнизонных, подавшихся в охранники после демобилизации. Встреча не запланированная, но вид у Клавы такой, что он выпускает

ее в свою загаженную однушку. Трудно сказать, что он понял из ее сбивчивого рассказа, но вопрос задал толковый:

— Так что в портфеле? Ты сама-то знаешь?

— Ну ты че, совсем тупой, Жор? Бабло там. Не знаю сколько. Портфель тяжелый.

У Жоры заходили желваки под щетиной.

— Ты бы поговорила с ним, Клав, может, он в долю войдет.

Клава засомневалась. Своего занудного мужа она знала. Агеев был какой-то правильный, не способный на криминал. Может, время его изменило? Надо попробовать. И она кивнула.

— На дачу его повезу в Черноречье. Там еще выпьем, баньку натопим. Я тебе с балкона махну.

На том и порешили. Последний вопрос Жоры был, скорее, деловым:

— Ствол у него есть?

Ствола не было.

Дома Клава потихоньку прикрыла входную дверь, прислушалась, не проснулся ли муж. Спит. Нетерпение жгло ее. Надо будить. Агеев нехотя оторвался от сна. Ему снилось что-то тревожное и томящее, сквозь которое шел маленький Олежка, протягивая навстречу ручки.

— Ты чего? Я храпел?

— Что у тебя в портфеле? Деньги? — понеслась с места в карьер Клава

— Точно не знаю, думаю — да.

— Баксы? Ключ-то у тебя есть? Давай откроем — посмотрим.

И тут выяснилось, что никакого ключа нет. И открывать портфель Агеев не собирается, поскольку вещь это чужая и ее нужно отдать тому, кому положено. Но Клава повела себя как-то странно: она словно ничего не

слышала, словно ни одно сказанное слово до нее не дошло. Присев на край кровати, она заговорила тихим сладким голосом, которым говорила когда-то много лет назад: «Выкуплю нашу фабричку, вложусь по новой, найму таджичек, повезем продавать покрывала за кордон...» Лицо ее преобразилось. Оно смягчилось, мечта разбогатеть озарила увядающие черты.

Агеев даже расстроился, так ему не хотелось увидеть разочарование на этом похорошевшем лице.

— Нельзя, Клава. Это деньги Куликова. Лучше я сделаю всё как надо. Он мне заплатит. Будут деньги, может, меньше, чем тебе прямо сейчас подавай, но зато верные.

Лицо погасло. Вернулся базарный знакомый голос.

— Ну что ты тупой такой?

— Какой есть, — насупился Агеев.

— Да наебет он тебя дурака. Даст копейки.

Агееву разговор надоел. Рывком он поднялся с кровати, стоя перед ней в синих семейных трусах и линялой футболке.

— Это ты дура! Не понимаешь, с кем связываешься! Он уььет за эти деньги!

— Не уььет, Слава! Не найдет. Вон Олежку полгода никто найти не может, даже твой Куликов. Пропал — и нету!

— Я всё сказал! — крикнул Агеев и трахнул кулаком в стенку. Какая-то картинка свалилась на пол, кот испуганно забился под кровать. Клавка поняла, что проиграла, и сразу поникла.

— Ладно, орать нечего. Нет, так нет. Я тебе баньку обещала, давай собираться, чтоб дотемна вернуться, а то Элка скоро из школы придет.

Может, Агеев и был тупой, но ехать париться в баньке он раздумал, как-нибудь в другой раз, спасибо, лучше он помоеется дома, благо есть горячая вода, да и вернется на вокзал. Так ему, мол, будет спокойнее за портфель

этот несчастный. Скорее бы его уже сбegrить, от греха подальше. Клавдия лицом немного спала, но новость приняла покорно. Как скажешь. Дам щас полотенце. Там у нас нагреватель плохо работает, может, посмотришь.

Пока Агеев возился с нагревателем, Клавка на балконе знаками сообщила новость Жорику. Тот хоть и был ума не протяженного, но понял всё правильно. За ничёмную свою жизнь заниматься рукопашным боем ему приходилось не раз и не два. Инструментом он владел лет с тринадцати. Так что на место преступления прибыл быстро и собранно. Застигнутому врасплох в ванной собственной квартиры, Агееву накинули на голову то самое покрывало, по которому золотом вышила рисунок нанятая Клавкой вьетнамка. Жорик быстро истыкал ножом его тело. Пока кровяца стекала в ванную, Агеева, еще живого, засунули в какие-то мешки и затолкали в багажник Клавкиной «шестерки». Туда к нему и пришел Агамемнон. «Вот теперь ты умер, — сказал он, — а заказала тебя жена. Но ничего, Владислав Николаевич, сын за тебя отомстит. Олежек уже совсем скоро приедет».

— Я Клавке смерти не хочу, — были последние слова подполковника Агеева, бесславно завершившего свою жизнь.

К вам же, конечно, и в дальнюю землю дошел об Атриде
Слух, как домой возвратился он, как умерщвлен был Эгистом,
Как и Эгист наконец по заслуге приял воздаянье.
Счастье, когда у погибшего мужа останется бодрый
Сын, чтоб отмстить, как Орест, поразивший Эгиста, которым
Был умерщвлен злоковарно его многославный родитель!

(Гомер. «Одиссея». Песнь третья)

ТИБЕРИЙ НА РОДОСЕ

Император ждал его. Тиберий не спешил. Ему всегда не хотелось возвращаться в Рим, хотя на этот раз предсказание звезд было благоприятным. Еще бы, ведь он вернул штандарты, брошенные Крассом после разгрома римских легионов. Вот тогда, должно быть, ему и приглянулся Родос, куда, возвращаясь из Парфии, зашли римские корабли пополнить запасы пресной воды. Маленькая Греция, окруженная морями. Владение Гелиоса, затерянный подарок Посейдона.

Никто в Риме толком не знал, что вынудило Тиберия в расцвете сил и славы, после стольких успешных походов покинуть город. Сам благочестивый Август жаловался на него в сенате: не он ли осыпал пасынка милостями, встречал его с почестями и награждал званиями? И чем тот отплатил? Хочет удалиться от дел, как будто ему пора на покой! Но дома, где его никто не слышал, так, во всяком случае, ему казалось, он кричал в смиренное лицо Ливии, которое далеко не всегда бывало смиренным:

— Я женил его на своей дочери! У нас с тобой могут быть общие внуки! Что еще ему надо?

Ушлые слуги, шныряющие по углам императорского дома, слышали, как кричал уже Тиберий, стоя на коленях перед матерью:

— Я не могу здесь больше находиться! Спаси меня!

Кто-то даже расслышал змеиный шепот Ливии:

— Ты что же, не хочешь быть императором?

Ответ Тиберия был неизвестен. Известно только, что через три дня он был отпущен восвояси.

«Неблагодарного удерживать не стали!» — пролетел ветерком шепоток над Римом.

Ветерок набрал силу и, долетев до Родоса, превратился в бурю, чуть не разбившую корабль Тиберия, а потом улегся легким бризом на каменистое побережье.

Уж если в Риме не знали, по какой причине его покинул Тиберий, то на Родосе тем более не имели понятия, зачем он сюда приплыл. Острова, раскинутые в морях, издавна были местом изгнаний. Здесь несчастных отлучали от привычной жизни, обрекая на одинокое затворничество. Но Родос не был мрачным застенком, на острове кипела жизнь, да и Тиберий не походил на ссыльного, все видели, как десятка два рабов разгружали его скарб с корабля на берег. Правда, он снял недорогую виллу и вообще был странный: ходил всегда один, высматривал подолгу корабли в порту. И это при том, что все еще считался трибуном¹, хотя сенат был им недоволен. Разве стоило покидать Рим, чтоб с нетерпением ждать оттуда новостей?

Однажды ему пришлось в голову осмотреть больных на острове. Никто не знал, что у него на уме, но на всякий случай всех занемогших разложили перед входом в его виллу.

Подобное рвение Тиберию было знакомо. «Значит, греки подобострастны так же, как и римляне», — сказал он. С извинениями за причиненные неудобства ему пришлось пожелать всем больным скорейшего выздоровленья.

Слава богам, он вскоре охладел к обязанностям трибуна и зачастил в риторскую школу, которой знаменит был Родос.

¹ Родос управлялся Римом, хотя сохранял некоторую самостоятельность. Трибун — выборное должностное лицо в Древнем Риме, наделенное широкими полномочиями.

На первом же занятии наставник похвалил Тиберия за знание греческого языка, но остался недоволен его произношением.

— У тебя медленные челюсти, не бойся шире открывать свой рот! — сказал он.

— Еще скажи, что мне, как Демосфену, нужно набивать рот камешками, чтобы лучше ворочать челюстями, — довольно отчетливо произнес Тиберий.

В его голосе послышалось то ли недоверие, то ли угроза.

— Нет, просто ходи на берег моря и там обращай к волнам настолько громко, чтобы римские граждане смогли тебя услышать.

Поскольку остров омывался двумя морями, Тиберия видели с тех пор то на побережье Средиземного моря, то на скалах Эгейского. Ветер срывал слова с его уст и уносил их в пространство, но, видимо, недостаточно далекое, потому что слова его оставались неслышанными в Риме, откуда ему писала только Ливия.

Она писала о том, что Август даже не вспоминает Тиберия, зато души не чает во внуках. Старшего, Гая Цезаря, он уже определил своим наследником. Младший, Луций, очень мил. Она, конечно, во всем потворствует мужу и тоже балует сыновей Юлии¹. В конце писем Ливия советовала Тиберию не предаваться унынию и проводить время с пользой.

Короткие вести от матери о многом говорили Тиберию. Он умел читать их меж строк. Юлия... Единственная дочь императора. Мало кого он так ненавидел в своей жизни, как эту женщину, впрочем, ее сыновей он ненавидел не меньше.

¹ Юлия — дочь Августа от жены, с которой он развелся, чтобы жениться на Ливии.

Говорили, что это она, овдовев, упростила Августа приказать Тиберию жениться на ней, хотя тот был счастливо женат на Випсании. Тиберий настолько не выносил Юлию, что ему стало дурно, когда он забрел на рыбный рынок и тамошний запах напомнил ему запах этой свиноматки, этой шлюхи, о беспутстве которой знали в Риме все, кроме ее отца. Себя он тоже ненавидел за то, что не рискнул перечь Августу и женился на его дочери, разведясь с беременной Випсанией. Только Ливия знала, что бегство на Родос было избавлением от этой связи. Остальные догадывались.

Ожидание вестей из Рима повергало Тиберия в угрюмость, а одинокие прогулки располагали к размышлениям. Иногда он посещал философскую школу.

— О чем ты думаешь, стоя часами у морской кромки и глядя вдаль? — спросил его наставник.

— Я думаю о том, что все моменты времени существуют одновременно.

Обычно скрывающему свои мысли Тиберию такое откровение было несвойственно. Тем большее для него прозвучала насмешка кого-то из философов:

— Зачем же ты тогда привез с собой астролога Трасилла, если будущее уже существует в каждом моменте времени?

Это настолько задело Тиберия, что он удалился, не вступая в спор, но вскоре вернулся в сопровождении ликторов¹, которые арестовали насмешника. Тому пришлось провести некоторое время в тюрьме. Говорили, что он еще дешево отделался. Лицам, оскорбившим трибуна, могла грозить и смертная казнь. Так Тиберий напомнил родосцам, что он не такой уж простой гость.

¹ Лица, сопровождающие трибунов, исполняющие его приказы, почетная охрана.

С тех пор прошло немало моментов времени, превративших будущее в настоящее, а настоящее в прошлое.

Тиберий запаршивел, покрывшись ржавым наростом, от которого не помогала ни одна мазь. Он перестал бриться, выгнав тонсора¹, у которого от страха прогневить трибуна дрожали руки, и нож то и дело норовил поранить бугристую кожу. Ему пришлось отрастить бороду, а заодно и реденющие волосы. В Риме его бы осмеяли, на Родосе до него никому не было дела. Рабы натирали оголенную макушку Тиберия маслами. Макушка блестела под полуденным солнцем, привлекая своим приторным запахом жуков. Но, сосредоточенный на какой-то мысли, он не замечал жужжания надоедливых насекомых. Редким посланцам рабы, хихикая, указывали пальцем на одинокую фигуру, стоявшую на краю утеса, или махали рукой в сторону порта, где их хозяин проводил часы, взбираясь на мраморные обломки — все, что осталось от разбитой землетрясением статуи великого Колосса.

В теплые безветренные дни Тиберий спускался к песчаной бухте и чертил на песке путь Ахиллеса, старающегося догнать вечно уползающую вперед черепаху, зато в надвигающийся шторм велел седлать жеребца, которого объездил еще в Риме, и мчался во весь опор на южную оконечность острова, где сливались в вечном поцелуе Эгейское со Средиземным морем. И там он то пускал коня вскачь, вбирая грудью гудящий морской воздух, то, спешившись, декламировал нараспев любимые куски из «Энеиды»:

Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои —
Роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны².

¹ Брадобрей.

² Перевод С.А. Ошерова.

В такие моменты он выглядел скорее смешным, чем величественным, но тем и хорош был Родос, что здесь Тиберий мог оставаться самим собой, забыв о роли защитника Рима и примерного семьянина.

Хотя как раз полководцем он был неплохим, не случайно же Август надел ему на голову триумфальный венчик и пожаловал расписанную золотом тогу... Но шествия во главе легионов не удостоил. Даже получив должность трибуна, Тиберий обиду не забыл. Справедливости ради надо сказать, что воины не любили его. Не умел он располагать к себе простых людей, оставаясь надменным и отчужденным. Иное дело — Друз. Друза в армии любили все. Было в нем подкупающее сострадание к легионерам, служба которых и впрямь была тяжела: двадцать лет походов, жизнь в палатках под дождем, снегом и ветрами. «У них тела покрыты шрамами, половина центурионов деснами перемалывает жратву», — вспоминал Тиберий слова брата, не испытывая при этом ни малейшего сочувствия к тем, о ком тот говорил. «Каждому свое, Друз, каждому свое. Богам была угодна твоя нелепая смерть, а я вот жив, хотя меня могли убить много лет назад», — праздность жизни на Родосе располагала к подобным мыслям.

Провидение и в самом деле было милостиво к Тиберию. В годы гражданской войны кто-то внес фамилию их отца в проскрипционный список. Всех ожидала смерть. Семейству пришлось спасаться бегством. У Ливии, пробиравшейся сквозь горящий лес с младенцем Тиберием на руках, загорелись волосы. Так огонь стал его первым детским воспоминанием. Тогда же с ним случился и первый приступ удушья. Кормилица решила, что малютка наглотался дыма, но приступ повторялся и у повзрослевшего мальчика.словно волчонок, говорил он, впивается в мое горло. Лишь Ливия знала, что волчонком был страх, посе-

лившийся в душе ее сына, а страх, если верить Зенону, это не что иное, как предвестник зла. Друз, рожденный уже после перемирия, такого страха не знал.

Победивший Октавиан простил врагов Цезаря, а их отец был из таковых. Что думал об отце Тиберий? Что, в общем-то, тот выбрал не ту сторону. Октавиан стал достойным правителем Рима, не случайно же Ливия ушла к нему, оставив их с Друзом в доме покинутого мужа. Кстати, в том доме не так-то уж им было и плохо. Во всяком случае, беззаботно. Вспоминая свою речь на смерть отца, Тиберий всегда самодовольно усмехался. Славно получилось у девятилетнего гражданина. Видать, не такие уж медленные были у него челюсти. Даже Ливия удостоила его похвалы, что с нею случалось не часто. Октавиан же просто велел доставить пасынков в свой дом на Палатине.

На скрипучей повозке их везли через город, оживающий после запустения гражданской войны. Тиберий замер, увидев бронзовую волчицу, стоящую возле Форума. Знакомое удушье перехватило его горло. Не вырос ли тот самый волчонок, от которого он убегал в детстве, не догнал ли его здесь, в столице мира, чтобы, разодрав внутренности, выпустить из него жизнь?

— Это же добрая волчица, чего ты испугался? Она выкормила Ромула и Рема своим молоком, — лицо брата склонилось над ним. — Ты упал в обморок, Тиберий, стыдись! Но я никому об этом не скажу, наш возникший тоже будет молчать.

Слугам всегда полагалось молчать, правда, они шептались между собой, из их шепота Тиберий узнавал больше, чем из слов отчима, который редко его замечал. Поначалу многое было ему непонятно. Он не знал, что значит «многоликий», а именно так звали Октавиана за глаза. Мраморная фигура бога Януса, стоящая в саду, была с

двумя головами. Как ни старался Тиберий, он не мог представить, где бы еще могла разместиться третья. Он видел, как Октавиан с ласковой улыбкой принимает гостей, которых накануне обзывал последними словами, а отправляясь в сенат, надевает обувь на толстой подошве, чтобы казаться выше. Однажды Тиберий подслушал, как отчим не поддается на уговоры сенаторов принять власть: «Вы и не представляете, какой это зверь». Кажется, он улыбался, когда это говорил, а Тиберий чуть снова не потерял сознание, вспомнив оскал бронзовой волчицы. Спрятавшегося мальчишку никто не заметил, но тот навсегда запомнил слова, сказанные кем-то вполголоса: «Вот увидите, не для того он расправился с врагами, чтобы разделить с кем-то власть». Насколько прав оказался этот неизвестный, Тиберий узнал позднее.

Так в доме императора расцвело полным цветом ожидание зла в жизни Тиберия. Тогда-то он и стал звать мать Ливией. Ей это даже нравилось: быть женщиной в глазах подрастающего сына. А ведь так оно и было. Рядом с ней он испытывал какое-то непонятное волнение. Ревность ударяла ему в голову, когда он перехватывал взгляд отчима на Ливию или видел соприкосновения их рук. Он уже знал, чем они занимаются в спальне, и это распяло его еще больше. Бедный Друз был младше на три года и оставался в неведении по поводу томлений брата. Зато они были неразлучны.

У Августа, так стали звать Октавиана, в доме было полно детей, учителей, наставников и надзирателей. Тиберий любил играть только с братом, но за ними часто увязывалась хохотушка Юлия, которую родила бывшая жена Октавиана в день его свадьбы с Ливией.

Любое воспоминание о Юлии, даже если оно всплыло случайно, Тиберий прерывал с отвращением. А ведь это она раздвинула однажды свои полненькие ножки и

показала ему светлые завитки внизу живота. Вошедший раб помешал ей осуществить задуманное. Прознавшая об этом Ливия оградила братьев от Юлии, запретив ей играть с мальчиками.

Боги знают, как Тиберий любил брата, как тяжело было ему сопровождать его мертвое тело к месту погребения. Он всегда любовался его мощным торсом, сильными руками. Друз одинаково владел левой и правой, а Тиберий так и остался левшой. Оба были прекрасными наездниками, оба могли погибнуть от ран или мора, но какая нелепая смерть досталась достойнейшему из всех, кого он когда-либо любил: упавший конь придавил ногу Друза, началось воспаление, от которого тот уже не оправился. Да что там... И в глубокой печали, не вытирая слез, Тиберий вспоминал стихи великого Горация:

Фурии многих дают на потеху свирепому Марсу,
Губит пловцов ненасытное море,
Старых и юных гробы теснятся везде: Прозерпина
Злая ничьей головы не минует.

.....

Жертвы тебя не спасут никакие.
Пусть ты спешишь, — не долга ведь задержка: три горсти
Брось на могилу мою, — и в дорогу!¹

После смерти младшего сына Ливия словно помешалась на Тиберии. Мало ей было влияния на Августа, который не принимал ни одного решения без ее совета, так ей еще захотелось стать матерью следующего владыки Рима. Долговязый и унылый Тиберий ненавидел все, чем она наслаждалась. А наслаждалась она, как и Август, ощущением всевозрастающей власти. Достойная это была пара. Под стать друг другу. Наблюдая за отчимом, Тиберий видел, как тот осторожно двигался к той самой власти, от которой так упорно отказывался на словах. Он осыпал щедротами ар-

¹ Перевод Н.С. Гинцбурга.

мию, подкупил нищих раздачами хлеба, а уж потом подкупил и весь народ обещанием вечного мира после изнурительной гражданской войны. Когда его благочестивые уши уловили песнопения в честь великого триумфатора, он решил, что пришло время подмять под себя сенат и закон. Тиберий слышал не раз, как Ливия подталкивала мужа к более решительным действиям. «Вот увидишь, никто не посмеет и слова сказать против тебя в сенате», — лениво говорила она, играя золотыми браслетами.

Никто и не сказал. Истинная правда. Да и некому было выступать против. Самые непримиримые пали в гражданскую войну. Остались те, кто слишком ценил свою жизнь, чтобы расстаться с ней по собственной воле. Молчали и провинции, разоренные в войнах.

Должно быть, Ливия почувствовала, что не может больше держать сына возле себя. Мальчику пора было жениться и завести свой собственный дом. Как же он был благодарен ей за это!

Випсания! Любовь его жизни. Мотылек, прилетевший к нему, истосковавшемуся по женской ласке, на огонек его одинокой души.

Будем, Лесбия, жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики, — что нам их ропот?
За него не дадим монетки медной!
Пусть восходят и вновь заходят звезды, —
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста,
А когда мы дойдем до многих тысяч,
Перепутаем счет, чтоб мы не знали,
Чтобы сглазить не мог нас злой завистник,
Зная, сколько с тобой мы целовались¹.

¹ Стихи Катулла в переводе С. Шервинского.

Зачем ее отняли? Неужели по прихоти Юлии? Или, женив на дочери, Августу хотелось крепче привязать его к себе родственными узами? Думая об этом, Тиберий начал задыхаться, как в детстве, когда ему казалось, что волчонок впивается в его горло. После развода он только раз случайно встретил Випсанию и так долго глядел ей вслед полными слез глазами, что об этом тут же донесли императору. Ее срочно выдали замуж и запретили встречаться с Тиберием.

Даже вдали от Рима Тиберий чувствовал, как Август играет его судьбой. Ливия никогда не писала о том, что он в немилости, но это было понятно и без слов. Пока Гай и Луций молоды, Августу могла прийти в голову мысль о том, что Тиберий готовит против него заговор, дабы захватить власть и начать гражданскую войну. Кто мог помешать ему подослать людей умертвить пасынка? Никто, кроме Ливии, если она, конечно, будет знать о таком намерении мужа. А если он умудрится держать это в тайне? И страх, поселившийся в душе Тиберия с детства, заполнил его пребывание на Родосе ожиданием зла. Не потому ли он высматривал корабли в порту, поджидая своих убийц? Правда, по всем уверениям астролога Трасилла, жизнь ему предстояла долгая, но что, если тот неверно толковал движение звезд или просто лгал? Тиберий обещал побить Трасилла, если звезды не предскажут изменений в его судьбе. Звезды тут же предсказали благие изменения, но только после длительного ожидания. Через шесть лет, когда терпение Тиберия было уже на исходе, предсказание сбылось: в порт вошел корабль с посланцем от Ливии, принесшим весть о его разводе.

Ливию не случайно ценили за ум. Свое краткое послание она доверила одному из немногих друзей Тиберия — центуриону Руфу Порцию, зная, что тот не утаит подробностей скандала, о которых она сама умолчала.

— Да ты превратился в настоящего грека, — загоготал Порций, увидев Тиберия, обросшего бородой, в хитоне и сандалиях.

Тиберий же был поражен тем, как раздобыл Порций, его друг по военным походам в Галлию. Глазки Порция словно заплыли жирком, тога не скрывала выпирающий живот.

— Ты стал походить на наших сенаторов! Это что, нынче так спокойно живется в Риме? Давно не спал в палатке?

Порций снова расхохотался, обхватив Тиберия за плечи:

— А ты тут усох под лучами божественного Гелиоса!

Конечно же, Тиберий повел его на свою виллу, которая показалась Порцию маленькой и бедной, заваленной свитками. «У тебя тут целая библиотека, да еще на греческом! А ну, прочти-ка что-нибудь!» — он развернул первый попавший под руку свиток и протянул его Тиберию, и тот торжественно и нараспев прочел:

Будем пить!

.....

Зимний недолог день.

Расписные на стол,

Милый, поставь

Чаши глубокие!¹

.....

— Ну ты подумай, я прямо угадал, какой свиток вытащить из целой кипы. Мой греческий не так хорош, как твой, но кое-что я все-таки понял! Так давай пить, хватит стихов! Где твое знаменитое родосское вино?

Они возлегли у бассейна в тени деревьев, где сохранялась прохлада в жаркие дни. К изумлению Порция, рабы подали только сыры с лепешками и фрукты, мяса не было совсем, зато вина и маслин оказалось вдоволь.

— Я не ем мяса, но слуга уже послан на базар, — извинился Тиберий.

¹ Стихи Алкея в переводе В. Иванова.

— Так вот почему ты такой тощий. Смотри на меня, — Порций похлопал себя по животу, — вот что любят римлянки!

Тиберий ответил ему непристойной шуткой, от которой прыснул мальчик-раб, подливавший вино гостю.

Непринужденность маленькой птичкой впорхнула в их разговор, распевая на все лады похождения буйной молодости обоих. Они не виделись слишком долго, чтобы сразу начать говорить о тревожном настоящем. Только уже изрядно набравшись, Порций рассказал о Юлии то, что знал весь Рим: дочь Августа переодевалась проституткой и отдавалась всем желающим прямо на Форуме, видимо, ей не хватало аристократов, которых она принимала у себя в доме. Все проходило мимо отцовских ушей, пока она не вступила в связь с Юлом Антонием, сыном Марка, его заклятого врага.

Об этом кто-то донес Августу. Говорят, он так кричал на беспутницу, что распугал всех павлинов в саду. На этот раз ей не удалось вымолить прощения, Август своей властью развел ее с Тиберием и сослал на крошечный остров.

— Ей повезло меньше, чем тебе, — закончил свой рассказ вдруг серьезный Порций.

Тиберий догадался, кто донес Августу на дочь. Вместе с письмом Ливия передала ему монету с профилями Юлии, Гая и Луция. Ему легко было представить, как Ливию бесило изображение бесстыжей потаскухи, ведь Ливия считала себя матерью Рима, так почему на монете не она, а Юлия? Конечно же, это она позаботилась о соблюдении приличий в семье Августа, кто же еще? Впрочем, возможно, смысл послания был в другом, возможно, это был намек на то, что остались только два профиля. Об этом Тиберий боялся думать.

— Ну что ж, — сказал он, — если верить Эпикуру, счастье состоит в познании удовольствий, а несчастье — в познании страданий. Страданий нам с тобой досталось не так уж мало, как насчет того, чтобы теперь испытать немного удовольствия?

И он повел друга в бордель. В конце концов, чем Родос хуже Рима? Во всяком случае, здесь можно найти проститутку на любой вкус и любого цвета кожи. Но Тиберий всегда выбирал одну и ту же полногрудую и дебелую аквитанку, напоминавшую ему Юлию, которая, несмотря на хорошую плату, покрывала его имя последними ругательствами, а все потому, что он выкручивал ей соски и старался оставить как можно больше синяков на ее теле.

Порций плохо помнил, что они делали, когда вернулись на виллу. Кажется, Тиберий плакал и читал ему свои стихи, посвященные Випсании, но поскольку они были написаны по-гречески, он мало что понял. Последним, уже замутненным его воспоминанием, был опять же Тиберий, переодетый в расписанную золотом тогу, подаренную ему когда-то Августом. Еще был откуда-то взявшийся мальчишка-раб, за которым Тиберий гонялся вокруг бассейна. Мальчик с визгом прыгнул в воду. «Уплыла рыбка», — пьяно хмыкнул Порций и провалился в сон.

Следующий день снова прошел в возлияниях, а все потому, что других занятий для Порция на острове не нашлось. Утром третьего дня ему предстояло направиться на Самос с письмами к Гаю Цезарю, ставшему наместником Сирии по воле не столько сената, сколько самого Августа.

Тиберию не терпелось узнать как можно больше о том, что происходит в Риме, но он был осторожен, жестом приказывая слугам подливать вина в чашу Порция и подносить куски жареной свиной туши, которую приготовил для гостя повар-грек. В одном из мальчишек, подававших фрукты, Порций узнал вчерашнюю «рыбку». Мальчик потупил взор, заметив на себе взгляд гостя.

— Да, Август уже не тот. Все замечают, что он покидает гладиаторские бои, не досмотрев до конца, немногословен в сенате и вообще выглядит понурым. То ли он не здоров, то ли его доконала история с дочерью. А помнишь, каким он был? — Порций повернул раскрасневшееся лицо к Тиберию.

Тот хмуро помалкивал. Уж он-то помнил Августа получше Порция. Помнил он и ликование толпы, простиравшей руки к коляске, в которой ехал человек, тогда еще по имени Гай Юлий Цезарь Октавиан. Зачем он взял в коляску детей Ливии? Показать, как сладка любовь народа, дарующего власть победителю?

— А ты помнишь, что сказал Цезарь, когда его спросили, какую бы смерть он предпочел? — вдруг спросил Тиберий, словно настала его очередь задавать вопросы. Порций замялся.

— Внезапную!

— Уж коль смерть неизбежна, я бы тоже хотел умереть неожиданно! — в голосе Тиберия послышалась несвойственная ему искренность. — Но как мне жаль Цицерона! Говорят, старик хотел пробраться в дом Октавиана и там убить себя, вызвав духов мщения, да не решился. Навивный, он долго верил в спасение, а когда понял, что спасения нет, сам подставил шею под меч палачу. Я будто вижу его обессиленного и больного, убегающего от стаи волков. А уж как я любил его «О природе богов», да и все, что мог прочесть!

Помолчали. Порций понял, что Тиберий не случайно затеял этот разговор. Получалось, что Октавиан был виновен в убийстве Цицерона, но настоящим-то врагом старика был Марк Антоний. Это в Риме знали все. Порций слышал, что Октавиан как раз не хотел вписывать Цицерона в проскрипционные списки, да Антоний настоял.

— Воистину страшное дело, сколько людей лишились жизнью после той «внезапной» смерти, о которой ты говоришь. Хотя, насколько я помню, Цезарю было предсказание не ходить в тот день в сенат. Я ведь постарше тебя, мой друг, и помню, во что войны превратили наш край: пепел вместо поселений, дороги завалены мертвыми телами, в лесах — бандиты, на море — пираты. Голод. Мой

отец и дед были противниками Юлия Цезаря, они говорили, что рано или поздно тот станет пожизненным диктатором. Каким-то чудом мы не попали в проскрипции. Дед уже умер, когда Октавиан победил, отец перешел на его сторону, а что еще ему оставалось делать? Вспороть себе живот? Что до меня, то я за мир и порядок, мой милый, а они пришли в Рим только с его победой.

Отговоривши, Порций смачно рыгнул и уставился на Тиберия.

Но того словно распирала воспоминания:

— А знаешь, я ведь подсунул своему старшему пасынку Гаю свиток с речами Цицерона. Октавиан запретил читать их в школах, а тут, в собственном доме, он застучал внука со свитком. Многие бы я дал, чтобы тогда увидеть его лицо. Говорят, оно не изменилось: ни гнева, ни слез. Словно окаменел. Правда, выдал из себя, что Цицерон был достойный гражданин и прекрасный оратор. Даже не стал спрашивать, откуда свиток.

Выпили еще вина, поговорили о том, что плавать в морях стало безопасно после того, как флот Августа расправился с пиратами, и о том, что с попутным ветром корабль Порция может за два дня добраться до Самоса.

Порция словно разобрало желание снова и снова говорить о богоравном правителе Рима:

— Знаешь, я с гордостью отдам жизнь за нашего императора, первого среди равных. Недаром он называет себя принцепсом¹. Конечно же, его слово решает все.

Непосредственность старого вояки даже растрогала Тиберия:

— По крайней мере, он развел меня с этой тварью...

— Так ты теперь можешь вернуться в Рим, небось, гречанки тебе уже надоели?

¹ Формально Октавиан Август назывался принцепсом — первым в сенате.

И разговор снова обратился в похабный солдатский треп, которого так не хватало Тиберию на Родосе. Как-то само получилось, что от сравнений кобыл с римскими матронами Порций перешел к первой чете государства:

— А правду говорят, что Ливия сама выбирала девушек для Августа? Впрочем, откуда тебе знать.

— Этого я и вправду не знаю, — медленными челюстями Тиберий жевал финики, сплевывая косточки в лекану¹, — но я знаю, что Ливия умнейшая женщина. Она всегда получает то, чего хочет, а ее честолюбию нет предела. Сейчас она хочет стать матерью императора.

Сказано опрометчиво, а все потому, что долгое молчание ведет иногда к излишней болтливости. Ужас, промелькнувший в его глазах, вспугнул птичку непринужденности. Она вмиг вспорхнула и улетела. Теперь замолчал Порций, но Тиберий знал, о чем он думает. А думал Порций о том, что желанию Ливии не так просто осуществиться, пока живы внуки Августа Гай и Луций. Кто знает, может, поэтому он отослал их подальше от Рима. Ходили слухи, что старшенький, которому стукнуло двадцать лет, ненавидит отчима. Чтобы донести Гаю на Тиберия, Порцию оставалось только добраться до Самоса. Как можно было так неосторожно проболтаться?

— Но я-то в душе такой же республиканец, какими были наши деды. Я бы вообще возродил республику, если бы получил когда-нибудь для этого достаточную власть.

Такое признание Тиберия положения не исправило, а скорее, усугубило.

— Но разве у нас не республика? Разве Октавиан не восстановил сенат и народное собрание? Разве он тиран?

В удивлении Порций приподнялся с ложа. Лицо Тиберия оставалось непроницаемым. Момент был серьезный. Порцию пришлось напрячь свой захмелевший ум.

¹ Древнеримская посуда типа глубокой тарелки на ножке.

— Сколько лет тебя не было в Риме? Шесть? Ты ничего не знаешь про наших граждан, они наелись досыта только теперь, вот и голосуют в комициях¹ так, как того хочет Август, хлеб-то он раздает. И наших сенаторов, наших козлов в тогах, ты тоже забыл. Они больше не умеют говорить правду. В сенате не осталось почтенных граждан. Дать им власть? И республиканской армии, слава богам, больше нет, Рим изнемог от бесконечных гражданских войн, тебе ли начинать все сначала?

— Все так говоришь, старый вояка, все так, — Тиберий попытался улыбнуться, но его лицо отвыкло улыбаться. Оно сжалось, под небритыми щеками обозначились скулы. — Почему же они все вдруг принялись лгать, а? А я тебе так скажу, — Тиберий ткнул пальцем в плечо Порция, — раньше средством выживания были ноги, теперь этим средством стала ложь, — он устало откинулся на подушки. — И потом, олух, ты что, не слышал? Я же сказал, «если бы получил власть», но я не хочу власти. И хватит об этом.

Жестом он приказал мальчику налить им еще вина.

«Он не хочет власти, он хочет восстановить республику, — вертелось в голове Порция, — он хочет, чтобы я этому поверил. Не такой ты человек, Тиберий Клавдий Нерон, чтобы отказаться от власти, если она свалится на тебя. Я-то помню тебя в походах, как лупцевал ты своих легионеров, приговаривая: пусть ненавидят, лишь бы повиновались, даже Друз не мог тебя остановить... Жестокий человек всегда властолюбив, уж в этом меня никто не разуверит...»

Но что простодушный Порций мог знать о мыслях Тиберия, мыслях, которые терзали его все эти годы, проведенные в одиночестве? На войне Тиберий не ведал того страха, который охватывал его в доме Августа. Друз не боялся, Ливия вертела мужем как хотела, а ему становилось страшно даже от одного взгляда отчима. По-

¹ Август сохранил народные собрания — комиции.

чему? «Потому что на войне ты свободен!» — сказал однажды внутренний голос. «Да! — обрадовался он такой простой мысли. — Как это ему раньше не приходило в голову?». Не бежал ли он на Родос от тягучего чувства бессилия, паралича воли, словно клыки волчицы снова и снова сжимали ему горло, не давая дышать? Но и на острове не обрел он покоя. Страх нагнал его и здесь. Длительное отсутствие могло вызвать подозрения у Августа. Наверное, уже вызвало. Пора возвращаться. Вон Порций набил свой толстый живот и, покряхтывая, развалился на подушках. Уж не подослан ли он сюда вынюхивать, что да как?

Ясноликий Гелиос успел облететь небесный купол с востока на запад в своей колеснице и приготовился омыть копыта священных коней в океане, когда Тиберий позвал гостя полюбоваться видом ночного Родоса со своего любимого утеса. Быстро темнело, мальчишка-раб с трудом нес смоляной факел, освещая дорогу. Идти пришлось по крутой тропинке и, спотыкаясь, Порций смачно матерился. «Зачем они потащились на эту гору, чего он тут не видел? Звезд на небе?»

А меж тем в порту зажгли маяк — то там, то здесь замигали уличные огоньки, бриз донес горелый запах жертвенных костров. Из-за тучи вышла луна, стало светлее, внизу обозначились мачты пришвартованных кораблей. Голос Тиберия стал мягок и тих:

— Смотри, как светится Регул в созвездии Льва. Видишь там семь тусклых звезд?

Пока Порций пытался найти на небе эти звезды, он продолжал:

— Я прихожу сюда часто, знаешь, зачем? Мне кажется, здесь, на этой высоте, все моменты времени существуют одновременно.

Порций вряд ли понял, о чем шла речь. Старый вояка выглядел усталым, его корабль готовился к отплытию на заре. Тихое море могло разбушеваться в любой момент,

от одной мысли о качке желудок Порция начинал выворачиваться, к тому же он явно обожрался жареной свиной. У края обрыва он немного перевел дух.

— А где ж тут знаменитый Колосс? Покажи.

— Да что тебе Колосс, он давно развалился, остались одни обломки.

Но Руфу Порцию не суждено было увидеть даже обломки великой статуи. С отчаянным криком он рухнул с обрыва, распугав уснувших птиц. Замешкавшись на минуту, мальчишка бросился вниз по тропинке, выронив факел. Тиберий быстро его догнал. «Ты никогда не мог убежать от меня, мальчик». Он схватил ребенка на руки и на несколько мгновений, словно сына, прижал его к груди.

Дома Тиберию пришлось написать пару писем в Рим. Его официальное письмо извещало о несчастном случае с центурионом Руфом Порцием, оступившимся и упавшим со скалы. В письме Ливии Тиберий сообщал, что хотел бы вернуться домой. О разбившемся мальчишке-рабе нигде не упоминалось.

Только через два года Август позволил пасынку вернуться в Рим. Тиберий покрыл свое имя славой, принимая участие в военных походах и стараясь как можно реже находиться при дворе императора. Он никогда больше не женился и никогда не возвращался на Родос. Возможно, он и не помышлял о власти, но тут случились одна за другой смерти сначала Гая, потом Луция. Говорят, Ливия приложила к этому руку, но кто же мог знать это наверняка. Горевавшему Августу ничего не оставалось, как усыновить Тиберия и назначить его своим преемником. После смерти Августа он поначалу отказывался от власти, но такая нерешительность не устраивала сенаторов, один из них даже сказал: «Пусть он правит или пусть он уходит!». Тиберий не ушел. Не возродив республику, он укрепил империю, продолжив дело Августа. Но страх никогда не оставлял его.

ТИБЕРИЙ НА КАПРЕЕ¹

Никто, побывавший в изгнание,
Не становился царем, крови людской не пролив.
Гай Светоний Транквилл «Жизнь двенадцати цезарей»

Когда-то Капрея очаровала Августа настолько, что он построил там виллу, куда пригласил Ливию с юными сыновьями.

— Этот остров был настоящим обиталищем сирен. Как помнишь, мой мальчик, — обратился он к пасынку, — Одиссей велел привязать себя к мачте корабля, а своим спутникам — залепить уши воском, чтобы не слышать их чарующего пения и не сгинуть в морской пучине.

— Разве у Гомера есть упоминание о Капрее? — возразил было Тиберий, но осекся, встретив предостерегающий взгляд Ливии.

Август обиженно надул губы. Расхваливая красоты острова, он больше не обращался к Тиберию.

— Никогда, никогда, никогда не перечь Цезарю! Слышишь меня? Никогда! — наставляла старшего сына Ливия, больно сжав его руку.

Эти слова Тиберий запомнил на всю жизнь. Он не посмел перечить Августу, даже когда тот велел ему развестись с любимой Випсанией. Никогда, никогда, никогда не любил он никого больше, чем любезную свою Випсанию.

Но что же остров? Вот он поднимается застывшей вздыбленной волной из морской пучины. Еще несколько

¹ Так в античные времена назывался остров Капри.

усилий гребцов — и вода под их веслами начнет переливаться удивительными оттенками синего, голубого, зеленого. Если бы Тиберий был молод, как много лет назад, он бы уже увидел островной маяк, сейчас же он различает только мерцающие вдалеке пятна. Ближе, еще ближе. Теперь белесые скалы, изъеденные волнами, совсем близко. Вот и утесы, меж которых триерарх¹ проводит корабль. Ветер несет аромат диких цветов, смешанный с множеством волнующих Тиберия запахов. Так благоухает свобода. Нет, он никогда не вернется туда, где хотят его смерти. Рим ненавидит его, а он ненавидит Рим. Он останется доживать свой век на этом острове, так он решил, ведь острова всегда притягивали его. Разве случайно он отправился когда-то на Родос, а на Капрее велел выстроить дворец-крепость на самой вершине отвесного утеса? Сейчас он уже не в силах туда взобраться. Его грузное тело рабы тащат наверх по каменистым ступеням, вырубленным в скале. Следом, проклиная богов, пыхтит взмокший Трасилл² и бряцают доспехами германские телохранители.

Слуги распахнули двери атриума³ перед Тиберием, и он с волнением ступил на мозаичный пол. Всегда прижимистый и даже скупой, он не пожалел денег на этот дворец, но как давно он здесь не был, безвылазно просидев в Риме десять лет. Как легко здесь запутаться в бесконечных лабиринтах и лестницах, ведущих в парадные залы, террасы и галереи.

Согнувшись в почтительном поклоне, управляющий имением выступил вперед.

¹ Капитан военного корабля триремы.

² Астролог Тиберия.

³ Центральная часть древнеримского здания.

— Веди! — приказал император.

Они долго шли под мраморными сводами вдоль стен, покрытых киноварью, мимо драгоценных коринфских ваз на бронзовых подставках, трофейного оружия, собранного еще Августом. Казалось, алебастровые «Крылатые Победы» с факелами в руках вот-вот вспорхнут со стен, приветствуя долгожданного владельца. Наконец, переступив через белый мраморный порог, Тиберий прошел в перистиль¹, залитый солнечным светом, и замер на пороге. Как прекрасен рокот волн, перекликающийся с журчанием фонтана и пением птиц. Как прекрасны белые статуи богов. Как украсили они этот двор, встав между колоннами. Старик подошел к сидящему на троне мраморному Юпитеру. «Чем провинился я перед богами, отнявшими у меня всех, кого я любил? Почему я одинок даже в радости?» — молча спросил он Всемогущего, но взгляд безответного Громовержца был устремлен в пространство, скрытое от простого смертного.

Голос Трасилла отвлек Тиберия от печальной мысли.

— Еле догнал тебя, Цезарь. Вели слугам разогнать диких коз в моих покоях. Пусть там и полы отмоют. Как хочешь, а мне нужно немного передохнуть после такого крутого подъема.

И он уселся на край фонтана, опустив босые ноги в воду.

— Я хотел показать тебе что-то в спальне, но не торопись, дай отдых ногам. Позови мне мальчика, — обратился Тиберий к управляющему.

Тот немного замешкался. Какого мальчика имел в виду император?

— Сирийца, — подсказал Трасилл.

Наконец нашли Ахмата, который был уже не мальчиком, а полноватым юношей с курчавыми черными волосами.

¹ Открытый внутренний дворик.

— Идем, — коротко приказал Тиберий.

В спальне он откинул парусину с картины на стене.

— Ну как тебе? Нравится?

Ахмат в смущении потупил взор.

— Это картина великого Паррасия¹, доставшаяся мне от Августа.

— Видишь, как согнулся Мелеагр над Аталантой², раскрывшей ему свое лоно? Ты уже проникал в чье-нибудь лоно, как Мелеагр? Говори!

— Да, — прошептал Ахмат. — Египтянка Тая раскрывала мне свое лоно.

— Так, стало быть, ты счастлив?

— Да, — еще тише, вжав голову в плечи, ответил юноша. Почему-то он знал, что ему нельзя быть счастливым рядом с господином.

Появление астролога прервало обещавший стать опасным разговор. Мельком скосив глаза на картину, он захныкал, что голоден и устал. Такое равнодушие разочаровало Тиберия. Он-то хотел поделиться с Трасиллом мыслью, неотступно преследовавшей его долгое время, а своими мыслями он делился не часто и только с ним.

— Взгляни, Трасилл, разве художник не точно передал, как сама природа требует от нас предаваться наслаждению? А этот раб уже постиг то, что раньше было скрыто от меня: подавление желания не делает нас счастливее.

— Тогда не будем подавлять желание чревоугодия, Цезарь!

Хитроумный проныра всегда умел повернуть сказанное Тиберием в свою пользу. И тот прощал ему все.

¹ Древнегреческий художник.

² Персонажи древнегреческой мифологии.

Повар, привезенный Тиберием из Рима, умудрился закатить пиршество из того, что оказалось под рукой на острове, а такого было немало. Но не филе из языков фламинго, не молока мурены, не фаршированные улитки, не нанизанные на вертела тушки садовых сонь и не запеченный кабан привлекли внимание беззубого императора. Когда-то, как истинный римлянин, он до тошноты набивал желудок всевозможными яствами, привезенными из разных провинций империи. Но сейчас смог съесть только мягчайшую еду, приготовленную из сортов местной рыбы. Быстро насытившись, в отличие от малочисленных гостей, Тиберий набросился на нежнейшие муссы, что не помешало ему то и дело осушать кубки с вином, в котором он знал толк. Его давно не видели в таком благостном и умиротворенном расположении духа. Поднявшись с ложа и обтерев руки о тогу, он подошел к круглому стеклянному аквариуму, врезанному в мозаичный пол посреди залы, в котором без устали вверх и вниз сновали маленькие разноцветные рыбки. О том, что он задумал, стоя там с неподвижным взглядом и оттопыренной нижней губой, стало известно довольно скоро.

Все последующие дни Тиберий был деятелен и энергичен. Он объездил остров, выбирая места для строительства новых вилл, обследовал многочисленные пещеры и гроты, находил тропинки к вершинам самых высоких утесов, продираясь сквозь колючий дикий кустарник. По его приказаниям нанимали строителей, покупали новых рабов, искали по всему острову красивых юношей и девушек, которых селили в подвалах дворца.

Прибывший на Капрею Луций Сеян, префект преторианской гвардии¹, был удивлен переменами, произо-

¹ Начальник личной гвардии императора.

шедшими в Тиберии: он выглядел счастливым. Это неприятно поразило префекта — судя по всему, старик совершенно не собирался умирать, а именно на это уповал Сеян, уговаривая его отправиться из Рима на отдых в провинцию. Странное дело, всегда подозрительный и никому не доверявший Тиберий считал Сеяна своим верным псом. Иначе, как бы тому удалось убедить императора в необходимости собрать разрозненные преторианские когорты в Риме и разместить их в одной казарме? Такое скопище гвардейцев под командованием префекта озаботило Ливию, но не Тиберию, начавшего расправы со своими противниками. Причем, выходило так, что врагов императора Сеян находил быстрее, чем они успевали появляться. Вот и сейчас он привез новый список несчастных, которых ждала казнь за оскорбление величества¹. Но список еще не предъявлен, он хранится у Сеяна в потайном кармане, а все потому, что неугомонному старику не терпится показать ему пещеру, которую местные рыбаки называют Голубым гротом.

На следующий день, как только взошло солнце, небольшая свита императора погрузилась в лодку и отправилась вдоль утесов к расщелине в одной из скал. Чудо открылось, когда они вплыли в пещеру, озаренную лазуревым светом. «Всемогущие боги!» — возглас восхищения вырвался у Сеяна. Никогда раньше не доводилось ему видеть, как небесный свет проходит сквозь воду и, загораясь где-то в глубокой бездне волнами голубого и лазурного света, выплескивается наверх.

— Ну, что я тебе говорил? Сам Нептун даровал мне это великолепие!

¹ Преступление, связанное с неуважительным высказыванием или действием по отношению к императору.

Но не только Голубой грот довелось увидеть Сеяну в тот день. В первый раз за много лет он увидел, как улыбался Тиберий, обнажив беззубые десны. На стенах пещеры и на покрытом язвами лице императора играли разноцветные блики. Лицо это было отвратительно. Хоть Сеян и не отвел взгляда, он был ошеломлен. Не так ли был ошеломлен и Одиссей, увидев в сказочной пещере одноглазого Циклопа? Но сможет ли Сеян перехитрить своего Циклопа?

День на Капрее только начал разгораться, а вместе с ним разгорался дух гостеприимства, обуявший Тиберия. Римлянина трудно удивить приглашением в термы, там проходит большая часть его жизни, но императору хотелось блеснуть перед Сеяном великолепием стен из розового мрамора, мозаичными сценами гладиаторских боев, разноцветным кафелем ванн. Ложи, на которые они легли, были усыпаны лепестками роз.

— Хочешь взглянуть на моих спинтрий¹? Я собирал их по всей Капрее.

Разве кто-то мог отказаться от предложения императора?

— Сейчас ты их увидишь! — Тиберий хлопнул в ладоши.

Потайные двери открылись, из них высыпались обнаженные юноши и девушки. Тела закружились вокруг Сеяна в каком-то неистовом танце, кто-то из спинтрий бросился с визгом в бассейн, обдав префекта брызгами, другие принялись разносить фрукты на подносах и наливать вино в бокалы. Несколько тел расположились у ложа

¹ Так Тиберий называл юношей и девушек, принимавших участие в его оргиях.

с императором. Какая-то девушка принялась лизать и кусывать ему ноги, другая игриво забралась рукой под его тогу. Тиберий притянул и уложил рядом мальчика, принесшего ему кубок с вином. Сеян же не мог оторвать взгляда от тел в бассейне, которые, совокупляясь, то сплетались, то расплетались, то сплетались снова.

— Я вижу, тебе нравятся мои «рыбки», — благодушные разливалось по уродливому лицу Тиберия. Наконец-то он был волен пристраститься к тому, что приносило ему счастье. — Знаешь, Сеян, — продолжал он, — греки говорят, что сама наша природа требует от нас предаваться наслаждениям. Так наслаждайся, пока еще можешь наслаивать на свой фаллос моих «рыбок».

По его велению спинтрии накиннулись на Сеяна, содрали с него тогу и увлекли в бассейн. Какое-то время Тиберий взирал на разыгравшиеся в бассейне забавы с его префектом, но вскоре, потеряв интерес, удалился в свои покои.

— Приведи сирийца с египтянкой, — приказал он слуге.

...

Как и всем старикам, Тиберию не спалось ночами. Сеяна же удалось разбудить не сразу. В смущении он явился перед императором.

— Ну, как тебе мои спинтрии? Вижу, ты перепробовал многих.

Сеян молчал.

— Я задумал устроить в садах скрытые от посторонних глаз местечки, такие венерины уголки, где желающие могли бы предаваться наслаждениям на свежем воздухе, обдуваемые легким бризом. Что думаешь, многие сенаторы согласились бы принять мое приглашение?

— Не сомневаюсь, Цезарь. Хоть весь сенат.

— А вот Трасиллу мои «рыбки» не нравятся. Говорит, он слишком стар для разврата. Стар и болен. По-твоему, я тоже слишком стар для разврата?

Проклятый старик подошел вплотную к Сеяну.

— Нет, Цезарь. Я так не думаю.

Довольный Тиберий оттопырил нижнюю губу.

— Во всяком случае, я здоров как бык. Но что там наши бараны? Где твой список?

В потаенном кармане списка не оказалось. Должно быть, он пропал, когда «рыбки» стягивали с него тогу. Увидев, как изменилось лицо Сеяна, Тиберий переменил тон.

— Я думал, ты мои глаза и уши в Риме, что я могу положиться на тебя. Ты не оправдал моих надежд, напился при первой же возможности и потерял голову, увидев голеньких мальчиков с девочками. Твоя распущенность заслуживает порицания.

Раскаяние префекта было таким искренним и глубоким, что Тиберий снова сменил тон, теперь на более милостивый. Сеян прошел испытание. Потерянный список «обреченных» тут же нашелся в ларце на мраморном столике. Конечно же, он был выкраден по его указу, и конечно же, Тиберий внимательно изучил все имена. Многих, если не всех, он знал.

— Так что, эти люди поносили мое величие? Отвечай.

— Да, Цезарь. Все до единого заслуживают наказания.

— Хорошо. Пусть будет так, — Тиберий капнул расплавленным воском на свиток и приложил свой перстень.

Теперь Сеяну осталось выполнить последнюю формальность: доставить список «обреченных» в сенат, где, как уже давно было известно, никто не возропщет, боясь

вызвать неудовольствие принцепса. Задерживать почтальона смерти не стали, в тот же день префект Сеян отбыл в Рим. По сути, он оставался там правителем до тех пор, пока не пришел и его черед.

Но вскоре что-то надломилось в Тиберии, он словно потерял интерес к тому, что так радовало его поначалу на Капрее. Как когда-то на Родосе, он и здесь стал взбираться на самый высокий утес и подолгу всматриваться вдаль, напрягая ослабевшие глаза. Несмотря на все уверения Трасилла в том, что звезды не предвещают угрозы его жизни, он в страхе ожидал появления убийц или гонцов с дурными новостями. Рим же был настолько запуган Сеяном с его преторианцами, что никто и не помышлял о каком-либо заговоре против затворника на Капрее, но префект всячески подливал масла в светильник страха стареющего императора, который разгорался все сильнее. С небольшой группой слуг Тиберий все чаще отправлялся в Голубой грот, где проводил долгие часы в никому не ведомых раздумьях. Постепенно его перестали интересовать даже государственные дела. Он больше не назначал на должности, не следил за вторжением врагов и потерями земель на окраинах империи. Пьянство с редкими гостями наскучило ему, как и чтение греческих философов. Неизвестно, как и когда исчезли сириец Ахмат с египтянкой Таей. Слуги шептались, что они были сброшены в море со скалы. Никто не знал за что, да и не хотел знать. Только «рыбки» развлекали старца, играя в бассейне с тем, что бессильно висело у него между ног.

Так шли годы. Умер Трасилл, успевший предсказать, что Тиберий переживет его на десять лет. Верил ли Тиберий Трасиллу? Ведь ему было уже семьдесят пять лет.

Сенаторы в своих письмах настойчиво просили его вернуться в Рим, и что же он им отвечал?

«Как мне писать вам, отцы-сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней».

Такое туманное послание означало только то, что возвращаться в Рим император не намерен. Впрочем, оставалось одно занятие, чрезвычайно его интересовавшее: чтение доносов. В своих ответных письмах Тиберий обычно приговаривал обвиненных к смерти. Похоже, страх собственной смерти не оставил его даже в почтенном возрасте, когда ее приход естественен и ожидаем.

И все-таки за одиннадцать лет, проведенных на Капрее, он дважды пытался покинуть этот остров. В первый раз он поднялся на триреме¹ по Тибру, расставив по берегам стражу, чтобы отгонять тех, кто выйдет навстречу, но так и не решился двинуться дальше, а во второй раз, почти доехав до городских стен, приказал повернуть обратно, испугавшись дурного предзнаменования: накануне его любимая змея была заедена муравьями. Помня предсказания Трасилла, он решил, что это знак остерегаться бунта черни. И тут произошло то, что поздно или рано происходит со всеми: по дороге назад на Капрею он занемог. Какое-то время ему удавалось скрывать свое состояние, но, добравшись до Мизена, он свалился.

Осмотрев больного, призванный врач Харикл сразу понял серьезность недуга, но не решился сказать об этом Тиберию. Тот же упорно гнал от себя мысль о приближающейся смерти.

¹ Древнеримский боевой корабль.

— Я с пятнадцати лет в походах, Харикл, и не всегда верхом или в повозке. Пешком, Харикл, пешком. И не под ласковым италийским солнцем, а в жару, и в ливень, и в снегопад. Ты и снега-то никогда не видел. Разве холод пробирал тебя до костей, ну хоть раз? И в палатке ты никогда не спал, не то что под открытым небом, а плавал, небось, только в термах. И ты смеешь говорить, что мне опасен какой-то сквозняк?

Харикл потупил глаза, не в силах вынести взгляда Тиберия. Уж если он что-то и знал, так это то, как серьезно болен император. Не ровен час, помрет. Когда-то был и впрямь здоров как бык: обжирался и пьянствовал без меры, развратничал без устали, но всему приходит конец. Вот и пульс у старика чуть бьется. Тиберий раздраженно вырвал руку из цепких пальцев Харикла: «Ступай. Оставь меня в покое». Лекарь удалился, соорудив скорбное лицо. «Трасилл предсказал, я умру через десять лет после его смерти. Мое время еще не пришло!» — крикнул Тиберий, но как слаб был его голос... Разве для Харикла тратил он последние силы? Нет, слова предназначались тем, кто, прячась, ловил каждый шорох в его покоех, кто никак не мог дожидаться смерти упрямого старика. И правда, боги подарили Тиберию долгую жизнь. Ему посчастливилось пережить многих своих врагов. Взять хотя бы Юлию¹. Бедняжка так надеялась на помилование, но Тиберий, получив власть, оставил ее в ссылке, где извел голодом и одиночеством. А сыночка ее Агриппу Постума и вовсе приказал прикончить, хотя никогда в этом не сознавался. Может, Постум сам по себе и не замышлял ничего дурного, но единственный оставшийся в живых внук Августа мог невольно притянуть к

¹ Бывшая жена Тиберия, сосланная ее отцом Августом на Пандемию за развратный образ жизни.

себе врагов Тиберия. Пришлось удавить. Дело несколько осложнялось тем, что Постум был и сыном почтенного Марка Агриппы Випсания, того самого, у которого Тиберий обучался науке войны в бесконечных походах. Сейчас он уже не сразу мог вспомнить названия всех покоренных народов с именами их вождей, но знал, что Рим протянул свои владения на все стороны света во многом благодаря его победам. «Я заслужил семь триумфов, а получил только три!» — обида на Августа жила в его слабеющем сердце. Зато Агриппу император отблагодарил: всучил ему в жены свою дочь Юлию, хотя тот уже был женат. Кому и когда это мешало в Риме? А вот Тиберий женился по любви на дочери Агриппы от разведенной жены. Глупец, он думал, что их счастьем не будет конца. Випсания... «Зачем они разлучили нас?» — слезы всегда навертывались на его глаза, когда он вспоминал первую жену. А всё проклятая Юлия. Эта свиноматка плодоносила от Агриппы чуть ли не каждый год, а последнего, Постума, она родила уже после его смерти. Тогда-то Август и придумал, отобрав Випсанию, передать вдовушку Тиберию. «Ничего, я все припомнил ей и ее отродью», — злорадствовал тот. Постума ему не было жаль. Ему никого не было жаль. Незаметно жестокость изменила черты его приятного когда-то лица. Рот сжался, выперли скулы, подслеповатые глаза недоверчиво сверлили любого, рискнувшего подойти близко. Никто не оплачет его кончину. Некому. Давно умерла Випсания, умер их сын Тиберий Друз, которого все звали Кастором, а еще раньше умер брат Друз. Запас любви, отведенный Тиберию богами, был исчерпан. Его уже не хватало на когда-то нежно любимую Ливию, возомнившую себя матерью отечества. Если Август и прислушивался к ее советам, то Тиберий в них не нуждался.

Кто-то, стараясь не шуметь, проскользнул в его покои. Старик замер, притворясь спящим. Шаги приблизились. Остановились совсем рядом. Запах знакомых благовоний подсказал имя крадущегося человека.

— Что тебе, Гай? Зачем ты здесь?

— Проведать тебя, император.

— Мне ничего не нужно. Ступай.

Шаги удалились.

«Вот они, Друзовы выродки», — Тиберий приподнял непослушное тело, наполненное странной, никогда не испытанной ранее болью, но, лишившись сил, упал на подушки. А как хотелось ему выбраться из сумрачных покоев виллы на свет и ветер, на скалистый край мыса, откуда виден любимый остров, где он прожил последние годы. Но море штормило, и туда было не добраться. «Позвать слуг?» — подумал он. Нет, ему не хотелось показать даже слугам, как он ослаб. Никто не должен знать, что он умирает. Неужели Трасилл ошибся? Улизнул негодник. Теперь его не наказать за враньё. «Интересно, сколько людей порадует моей смерти?» — Тиберий закрыл глаза, но сон, коснувшись его лба, принес не забытые, а видения прошлого.

Вот он впереди похоронного шествия. Гай Юлий Октавиан Август умер. Стояли жаркие летние дни. Боясь быстрого разложения, тело несли ночами, а в Риме поспешили с кремацией. Народ не должен был узреть тление божественного Цезаря. Лицемеры так стали звать его еще при жизни, хотя сенат признал богом только через месяц после смерти, а как было не признать, если какому-то почтенному человеку довелось увидеть вознесение образа сожженного императора на небеса. Верил ли Тиберий в божественность отчима? Ни одной минуты. Он знал о нем слишком много.

— Покойный Август любил тебя, — после смерти мужа Ливия следовала за сыном по пятам. — Он усыновил тебя, передал тебе свою власть. Вспомни, какие письма он писал тебе. Разве это не доказательство любви?

«Все так, — увещевал себя Тиберий. — Все так». Он помнил эти письма наизусть:

«Умоляю, береги себя, если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас и все могущество римского народа будет под угрозой. Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров? Молю богов, чтобы они сберегли тебя для нас...»

Письма и впрямь были полны заботливой нежности, но в том-то и дело, что Тиберий этим письмам не верил. Почему? Да потому, что он отвечал на эти письма такой же мнимой заботой. «Старый лис получал от меня то, что хотел. Он всегда и от всех получал желаемое. Это тоже надо уметь, а я вот не умею». Лицо Тиберия, когда он думал об отчине, искажалось от неприязни, которую он не в силах был скрыть. Эти перемены мгновенно замечала Ливия, прошедшая школу лицемерия еще в юности.

— Как ты угрюм! Впрочем, ты никогда не отличался веселым нравом. С таким лицом не видать тебе любви римлян. Посмотри на юного Германика! — она указывала на играющих неподалеку внуков, хохочущих над проделками сына Друза. — Вот кого все будут обожать!

И как в воду глядела. И все же Тиберий, а не кто-то другой, получил власть над Римом, кое-что перепало и Ливии, ставшей Августой согласно воле усопшего супруга.

«Наконец ты свободен», — говорил себе Тиберий. Но почему не исчезал страх? Он был храбр, даже отважен на всех своих войнах, не проиграв ни одной, но страх охватывал его каждый раз, когда он возвращался в Рим.

«Наверное, волки навели на меня порчу», — думал Тиберий. Много лет назад один из прорицателей сказал ему, что волк обладает магической силой, если успеет посмотреть на человека раньше, чем тот его увидит. Не случайно же в детстве ему казалось, что волчонок душит его, схватив за горло. Он рос, а с ним рос и волчонок. Вот опять эта проклятая волчица явилась ему здесь, в Мизене, где он свалился с непонятной лихорадкой по пути на Капрею.

— Пришла за мной? Пошла прочь!

На крик императора ворвалась стража, за их спинами маячило испуганное лицо Харикла.

— Подойди, — поманил его Тиберий. — Что это у тебя?

— Лечебный отвар, господин. Настой на травах.

Тиберий выжидающе оглядел небольшую толпу, скопившуюся у его ложа.

— Пусть сначала выпьет Гай.

Молодой человек с прилипшими к потному лбу кудряшками нерешительно выступил вперед.

— Пей, Калигула, — подслеповатые глаза буравили лицо юноши.

— С удовольствием, Цезарь! — Взяв чашу из рук лекаря, Гай выпил половину ее содержимого. Каждый глоток отзывался ударом его сердца. Казалось, оно вырвется из грудной клетки наружу, но он смог растянуть губы в улыбке. — Живи вечно, император! — и вернул чашу Хариклу.

— Ну, как тебе отвар?

— Немного горчит...

— Должен я это допить после тебя?

Тут Харикл понял, что ему надо немедленно вмешаться в разговор, иначе Тиберий заподозрит его в приготовлении яда.

— Травы помогут тебе справиться с недугом. Завтра ты будешь здоров, император.

Тиберий допил горьковатую жидкость и велел всем удалиться.

Отвар подействовал, старик погрузился в глубокий сон. Он увидел темные воды северной реки, за которой поднимался зловещий лес из могучих деревьев, дальше тянулась степь, покрытая снегом. Тревога охватила спящего Тиберия: он услышал гул приближающейся армии, обрывки чужеродной речи. Варвары! Как их много! До горизонта! Ужас охватил Тиберия, он закричал во сне. И вдруг все стихло. Из нависшей темноты выступили знакомые очертания римского воина. «Друз! Ты пришел! Богами клянусь, я не причастен к смерти твоего сына! Ты веришь мне?» Друз молчал, но темнота рассеялась, и смолк шум. Старик спал.

Для римлян Германик воплощал бога, сошедшего с небес, а все потому, что сын Друза обладал редким даром нравиться людям. Как и предсказывала Ливия, его любили все. Конечно, он был красив, и к этой мужественной красоте добавлялись все другие качества, которыми был обделен Тиберий. Одно время Август подумывал о передаче власти Германику, но Ливия уговорила его, — а она рано или поздно всегда добивалась того, чего хотела, — назначить наследником Тиберия. Август поддался ее уговорам, но только при условии, если Тиберий усыновит Германика, что тот и сделал. Так Германик стал сыном двух братьев, правда, один был мертв, зато другой внимательно следил за взлетом всеобщего любимца.

Завидовал ли Тиберий своему племяннику? Чему может завидовать человек, во власти которого весь мир?

Уж никак не военным походам Германика, они не впечатляли особыми победами по сравнению с победами Тиберия. Нет, другая негасимая зависть опаляла нутро дядюшки. Имя у этой зависти было «Агриппина». «Невзрачная» — так называла ее Ливия, — была верной женой Германика, любовью его короткой жизни. Может, семейное счастье приемного сына и не причиняло бы столько боли Тиберию, если бы Агриппина не была дочерью Юлии, той самой шлюхи, которую он извел в ссылке голодом и одиночеством. «И как эта замухрышка, — наливался злобой Тиберий, — позволила себе просить разрешения навестить свою мать? Эту дрянь, исковеркавшую мне жизнь?». Агриппина получила отказ и с тех пор при появлении тестя замолкала, опустив глаза, словно боялась его ненавидящего взгляда.

На семейных трапезах, затаясь, Тиберий ловил улыбки и тайные прикосновения супругов, вздрагивая каждый раз от неприязни к Агриппине, пытаясь найти в ней развратные черты Юлии и... не находил, забыв, что она была еще и дочерью благородного Агриппы, а ведь когда-то Тиберий любил свою добродетельную Випсанию, отцом которой был все тот же Агриппа, правда, от другой жены.

«Как все переплелось в императорском доме, — раздумывал Тиберий, просиживая часами в одиночестве. — Почему ни одна римская матрона не смотрит на меня так, как эта «Невзрачная» смотрит на своего тонкого Германика? Помнится, Випсания говорила, что я красив». Он часто просил богов вернуть ему гладкую кожу, но боги не внемлили его мольбам, а все потому, что прав был мудрый Афинагор¹ в своем наставлении молить

¹ Древнегреческий философ.

богов лишь о том, о чем можно молить во всеуслышание. Признаться на людях в своем уродстве Тиберий не мог. Тонсору¹ приходилось замазывать фурункулы на его лице, которые не переводились, расцветая повсюду кровавым цветом, а чтобы никто не мог разглядеть эти язвы, Тиберий запретил приветственные поцелуи.

Но не только фурункулы беспокоили владыку мира, были у него и другие заботы. Не случайно говорят, если бояться чего-либо, это обязательно произойдет: гонцы со всех окраин империи доносили о мятежах, вспыхивающих то тут, то там. Солнечные блики, игравшие по утрам на выгравированной из тонкого золота карте империи, казались Тиберию огнем пожарищ, пожирающих труды Августа, а значит, и его труды. На этой карте он мог с закрытыми глазами найти Пиренеи, Испанию, Сирию, Грецию, Альпы, Косматую Галлию, Эльбу и Рейн. За тридцать семь лет походов он прошел ее от края и до края. Сейчас он был немолод. Он устал.

«Боги, вы знаете, я не хотел этой власти, — начинал свои молитвы Тиберий, — но теперь я должен сделать все, чтобы ее удержать. Я должен удержать эту волчицу за уши». Но держать короткие уши волчицы — это не то, что держать короткий меч. Не то чтобы он не имел понятия о государственных делах, бывал и трибуном², и проконсулом, управлял провинцией, но тут была империя, завещанная ему Августом. Власть завещанная, значит, законная.

— Так прими, наконец, эту власть! — торопила его Ливия. — Что еще тебе надо? — Ее начинала раздражать нерешительность сына.

¹ Парикмахер.

² Высшая выборная должность.

Но Тиберий медлил, а все потому, что предсказания Трасилла были противоречивы. Расположение звезд на небе он считал неблагоприятным для судьбоносных решений, зато гадание на птицах сулило успех. «Тебе выбирать», — сказал хитроумный Трасилл, зная, как мучителен этот выбор для его господина.

«И в самом деле, почему я медлю? — думал Тиберий, глядя на лица сенаторов, столпившихся на римском форуме. — Они не любят меня. Я это вижу, но и я не люблю их, так что наша нелюбовь взаимна».

Тут Тиберий ошибался. Сенаторы не знали, что от него ожидать, и просто были в растерянности: им предстояло принять присягу на верность новому принцепсу, но что должны выражать их лица — скорбь по поводу ухода Августа или торжественную радость по поводу прихода Тиберия? А тот тянул и тянул, рассуждая о заслугах покойного Цезаря и ни слова не говоря о своих намерениях. «Чего же он хочет?» — долетел до него чей-то шепот.

Когда Ливии донесли ответ сына: «Я считаю себя непригодным для единодержавия, но не отказался бы от поручения вести часть государственных дел», — ее сердце чуть не разорвалось от гнева. Затратить столько лет и сил на то, чтобы Август передал ее сыну власть — и все для того, чтобы тот сложил ее в одночасье!

— Часть государственных дел... Это какую же? — Ливии удалось справиться с нахлынувшими чувствами, только голова ее слегка качнулась — и золотые подвески в ушах тихо звякнули. Самообладанию этой женщины мог позавидовать любой мужчина.

— Этот же вопрос ему задал сенатор Азиний Галл, — продолжал доносчик.

— И что?

— Осмелюсь сказать, сенатор Галл указал принцепсу на неделимость доставшейся ему власти. Он добавил, что это пойдет во вред всему государству, госпожа.

Низкий поклон доносчика скрыл от Ливии его ядовитую улыбку. Все в Риме знали, что Галл был мужем отнятой у Тиберия Випсании. «Лучше бы этому Галлу не высываться со своим красноречием», — подумала, но, конечно же, не сказала Ливия. Одни боги знали, что было в голове ее сына. Он ведь мог вспомнить судьбу Юлия Цезаря, а мог и просто расставить западню для сенаторов.

Гадать пришлось недолго. Тиберий согласился-таки принять власть, но обещал сложить ее, как только «придет время». Ему присягнули сенат, армия и народ. Оплакав Августа, Ливия и Рим отпраздновали приход нового императора, а нерешительность Тиберия как рукой сняло. Уже был умерщвлен последний внук Августа Постум, преторианские когорты во главе с префектом Сеяном получили новый пароль, который мог давать только император, а сенатор Галл плачевно закончит свои дни в тюрьме, где умрет от голода. Будет ли он, умирая, вспоминать Тиберия, которого наставлял в необходимости единовластия? Ну, а что же Ливия? Сохранит ли она самообладание, узнав, что сын отказал ей в звании «матери отечества»?

Угрюмость наложила отпечаток на черты Тиберия. Глубокие морщины залегли у его сжавшегося рта, который он все реже размыкал. Люди раздражали его, составившаяся мать вызывала отвращение, счастливые лица претили. Не любил он и своего сына Друза-младшего, воспитанного бабкой Ливией, пока сам он был на Родосе. Нелюбовь, а вернее, равнодушие не мешало Тиберию

приобщать сына к государственным делам. Тот был довольно смышлен и предан. Весельчак и выпивоха Кастор справлялся со всеми поручениями отца, будь то подавление мятежных легионов в Паннонии или управление римской провинцией, а все потому, что ладил со всеми, впрочем, нет, нашелся ненавистник и на него. Это был префект преторианской армии Сеян, который мрачной тенью неотступно следовал за ним.

Свободное время Тиберий проводил с Трасиллом, поселившимся на самом верху его еще недостроенного дворца. Оттуда они вместе наблюдали за звездами. Тиберий никогда не направлялся в сенат, не узнав предсказания мудрого Трасилла. Мудрого, потому что, неплохо зная императора, он часто угадывал то, что тот хотел от него услышать.

Когда, по расчетам Трасилла, Луна перешла в знак Водолея, а Марс приблизился к Деве, начались заговоры и мятежи. Сначала раб Постума собрал отряд вооруженных людей, готовых мстить за убитого господина, потом жрец-понтифик замыслил устранить нового правителя, ну а самым опасным стал мятеж легионеров. Легионеры! Солдаты, с которыми Тиберий провел большую часть своей жизни, единственный оплот его власти! Так, по крайней мере, он думал до получения этого ужасающего известия. Восстали те самые восемь легионов, стоявших на Рейне, с которыми Тиберий добыл свою главную славу в войнах с галлами и германцами.

Тревога переполняла его сердце, он чувствовал, что волчица вот-вот вывернется из его рук и вонзит клыки ему в горло. Ночами, проведенными в полусне-полуяви, Тиберий мысленно говорил с Друзом.

— Меня никто не любит, — жаловался он брату, — даже мои солдаты. Помнишь, как славно они били вонючих германцев, завернутых в козьи шкуры? Я до сих пор ненавижу этот запах.

— Но они же состарились, как и мы с тобой. Ты-то еще хоть куда, а многие из них превратились в развалины. Я всегда говорил, им нужно хорошо платить. Ты и платил. Но сейчас, когда варвары затихли, легионеры сидят без дела в лагерях, проедая свои запасы, а ты не вы платил им обещанные Августом деньги. Хочешь, чтобы они прокляли тебя?

— Слушай, они перебили своих центурионов, Германика выкрикнули императором, собираются пойти на Рим, и я должен им платить за измену?

— Германик никогда тебя не предаст, он не нарушит клятвы. Верь ему.

Воображаемый Друз оказался прав. Германик кинулся из Галлии, где собирал дань, на мятежный Рейн, как только до него дошли вести о восстании легионеров. Среди них было много ветеранов, они окружили Германика с жалобами и угрозами. «Ты похож на отца! Он был справедлив! Ты наш император! Веди нас в Рим!»

Когда гонец принес Тиберию известие об отказе Германика от императорского титула и обещании покончить с собой, если легионеры не подчинятся его приказам, у того слезы потекли по изъеденным язвами щекам. «К старости я стал сентиментальным, уже не могу скрывать своих чувств», — он повернулся спиной к говорящему. Но и спина бывает выразительной. Эта — была сгорбившейся и понурой. Не поворачиваясь, Тиберий дал знак рукой продолжать рассказ о верности Германика. Только один раз он прервал гонца, спросив: «Так Германик заплатил мятежникам из своих денег?».

— Да, император. Он подделал твое письмо с приказом уволить всех, кто прослужил двадцать лет, и заплатить обещанные деньги.

— Вот как? Боюсь, это плохо кончилось... они все перепились и разгромили свой же лагерь... — Тиберий, наконец, повернулся к говорящему и уставился на него подслеповатыми глазами.

Тот замялся:

— Очень верно сказано. Так и произошло.

— Но это все же лучше, чем гражданская война, к которой мы были близки, не так ли?

— На волосок, мой император.

Гонец ждал расспросов о семействе Германика, но Тиберий молчал.

А рассказать было о чем, потому что это Агриппина, всегда следовавшая за мужем, утихомирила солдат, выйдя к ним с двухлетним сыном на руках. Такое бесстрашие их восхитило, а малыш вызвал умиление, но раз Тиберий молчал... Кто же осмелится нарушить молчание императора? Немногие. Вот и гонец не осмелился. Он ждал. Наконец Тиберий промолвил:

— Ступай.

Нет, Тиберия не восхитило мужество Агриппины. «Хорошая жена досталась нашему Германику. Помнится, ее мать-шлюха Юлия однажды тоже отправилась со мной на войну, но только для того, чтобы переспать со всеми офицерами легиона, впрочем, она не гнушалась и центурионами», — раздумывал он, прогуливаясь по атриуму своего дворца. Верхние этажи еще не достроили, но Тиберий уже переехал туда из дворца Августа, лишь бы не жить с Ливией.

Шум римских улиц проникал сквозь стены, но не мешал Тиберию обдумывать слова гонца. Он представил,

как «Неказистая» расхаживает среди мужичья, гордо выставив живот. «Она что? Рожала в палатке?» — кажется, он сказал это вслух. Хорошо, что вокруг никого, впрочем, у стен бывают длинные уши, особенно у недостроенных. Укорив себя за невоздержанность, он снова углубился в тревожные мысли. Нет, не нравилось ему все это. Внучка Августа, дочка прославленного Агриппы, жена всеми любимого полководца. Не много ли ей? Уж не задумала ли она что-то против него, Тиберия Клавдия Нерона, третьего Августа, императора Рима? Подозрения заняли все мысли Тиберия.

Развезать их мог только сам Германик, но его возвращения пришлось ждать три года, а всё потому, что волнения в лагерях не утихали. Застоявшихся легионеров нужно было чем-то занять. Вот он и надумал новую войну, напав на варваров, переправившись через Рейн. Дело как-то не заладилось с самого начала. Особых успехов не было, если вообще можно считать успехом возвращение на место бывшей несколько лет назад расправы над римскими легионами. Всё, что мог Германик, это захоронить останки воинов, брошенных там под открытым небом. Война шла без особых побед, сокрушительного возмездия добиться не удавалось, увязать в зарейнских болотах и терять армию не имело смысла. Тиберий настойчиво звал приемного сына в Рим, обещая ему триумф.

В конце концов Германик вернулся. Римляне рукоплескали своему любимцу, бросая цветы под ноги его колесницы, за которой тянулись ряды пленных и повозки с трофеями. Рядом с триумфатором стояли три его сына и две дочери. Начищенные шлемы и панцири легионеров блестели на ярком солнце, бронзовые орлы возвышались

над восторженной толпой, тысячи ног, обутых в армейские калиги¹, втаптывали в весеннюю грязь живые цветы. Никто не хотел знать о сомнительности одержанных побед, похоже, что и сам Германик поверил в свой грандиозный успех. День возвращения стал счастливейшим днем его жизни. Обласканный императором, он ожидал нового назначения. И оно последовало.

Должность верховного правителя всех восточных провинций была новой. После долгой и занудной речи Тиберия никто из сенаторов толком не понял, зачем ее создавать, когда каждая провинция и так управлялась наместником, но все решили, что так тому и быть, если принцепс хочет отблагодарить триумфатора, отправив его в Сирию. Для Германика это звучало так: «Тому, кто отличился на благо Рима на Западе, настало время отличиться и на Востоке».

Назначение считалось почетным, Германик собирался покинуть Рим, не подозревая о том, что у него уже есть враги.

На следующий день после речи Тиберия в сенате Ливия решила осмотреть его новый дворец. Визит ее был неожиданным, в дверях она столкнулась с Луцием Сеяном. Лицо префекта было непроницаемо, как всегда, но что-то подсказало Ливии о значительности этой случайной встречи. Тиберий, нервно расхаживающий по саду, явно обрадовался ее появлению. Это было непривычно, он давно не проявлял особой радости при встрече с ней. Не торопясь, Ливия осмотрела дворец, похвалила фрески, дорогое убранство и мозаику в покоях Тиберия, давая сыну время успокоиться прежде, чем перейти к распросам. По-

¹ Армейская обувь.

степенно ей стала ясна причина его крайней взволнованности: Германик! Сомнения одолевали Тиберия. Что, если его верность показная и он готовит тайный заговор?

— Да с чего ты взял? Кто это тебя надоумил? Уж не Сеян ли? — расположившись на ложе, Ливия все так же неторопливо выбрала персик из подставленного ей серебряного блюда.

Тиберий вытянул свое длинное тело напротив Ливии, уставившись на нее в упор.

— Если Германик подделал мое письмо один раз, что помешает ему сделать это еще раз? А если он станет отдавать приказы от моего имени, если армия поддержит его? Ты знаешь, как его любят легионеры.

Ливия протянула пустую чашу Тиберию, тот наполнил ее вином.

— Хорошее вино. Это с Родоса? — и, помедлив, продолжила: — Помнишь Планцину, мою добрую приятельницу? Мы иногда с ней болтаем о том о сем. Она не такая уж поклонница Агриппины. Считает ее чересчур гордой и надменной. Так вот, — Ливия отпила из чаши, — ее муж Гней Пизон, ну, ты же знаешь этого скандального старикашку, он достаточно всем надоел в Риме, был бы не прочь получить место где-нибудь в провинции. Август, кстати, его ценит.

Ничего более к сказанному она не сочла нужным добавить. Тиберий слегка кивнул матери в знак понимания и согласия. Но оставалось что-то еще... Впрочем, Ливия знала об этом «что-то», столкнувшись с Сеяном. В Риме все знали о его вражде с Друзом. Поэтому она лишь спросила:

— Опять?

— Сыновья хотят моей смерти, — вдруг захныкал Тиберий, уронив голову в подушки, чтобы скрыть слезы. Это

было неожиданно, правда, до Ливии дошли слухи, что он чрезмерно поклоняется Бахусу, сидя в одиночестве в своем дворце. Уж не пьян ли он сейчас?

Что-то похожее на сострадание промелькнуло на ее состарившемся лице.

— Молодым людям вреден здешний воздух, вспомни, ты сам почти не бывал в Риме, Август посылал тебя во все концы империи, и ты всегда возвращался с победой. Посмотрим, как пойдут дела у Германика на этот раз. Вели ему отправляться со всем семейством. Его мальчишка Гай со смешным прозвищем Калигула рассердил меня. Они навещали меня на днях. Пока взрослые разговаривали и дети бегали в саду, этот самый Калигула успел укусить свою сестру до крови, а когда я велела рабу выпороть его, оскалился на меня как волчонок.

Тиберий поднял голову с подушек.

— Волчонок? Они все так и норовят перегрызть мне горло!

— Ну-ну... — Ливия снова глотнула вина из чаши. — Каспару тоже пора отправиться во славу Рима в одну из провинций, пока он тут не проломил голову твоему Сеяну. Говорят, у них в палестре¹ дело дошло до драки. Кстати, тебе не кажется, что Сеян как-то уж слишком озабочен делами нашей семьи?

— Думаешь, я не должен ему доверять? Кому же тогда доверять, как не командиру своей охраны? На кого положиться, как не на него?

Ливия пожала плечами и перевела разговор на темы, отдаленные от столицы мира, поинтересовавшись строительством на острове Капрея, где бывала во времена своей бурной молодости. Тиберий с такой не присущей

¹ Спортивный зал в термах. Термы — общественные бани.

ему радостью принялся рассказывать о новой вилле на том острове, что не заметил, как она сначала задремала, а потом, вдруг проснувшись, велела слугам подать панланкин и поспешно удалилась, поцеловав его на прощание. Это было настолько необычно, что заставило Тиберия задуматься о визите матери. Должно быть, и правда, не всё в императорской семье казалось ей благополучным. Зато он понял, что ему делать. В сенат тотчас было отправлено письмо с назначением Гнея Пизона на должность наместника Сирии с командованием над восточными легионами. Чтобы этот вздорный старик подчинился Германику? Да никогда!

«Какой удачный ход! Пусть они там разбираются между собой, — тревога впервые за долгое время ослабила свою хватку на горле Тиберия, — главное, в подчинении Германика не будет армии». Оставалось только дожидаться писем с их жалобами друг на друга и доносов на враждующих матрон. И они последовали. Тиберий терпеливо разбирал накопившиеся упреки двух соперников, как вдруг разразился гром среди ясного неба: пришло известие о страшной болезни Германика.

Рим горевал. Люди плакали на улицах.

— Это ведьма Планцина навела на него порчу! — кричали одни.

— Нет, это мстительный Пизон отравил нашего Германика, нашего любимца, нашего героя и защитника! — вторили другие.

Над городом повис смрад от жертвенных костров, двери храмов не закрывались, принимая новые и новые жертвоприношения богам с молитвами об исцелении народного любимца.

Как загнанный зверь метался Тиберий по дворцу. Нет, он не хотел, не хотел, не хотел смерти Германика, своего приемного сына, сына любимого брата! Ему доносили о слухах, шепотках и криках, ходивших по Риму, о найденных табличках с заговорами в доме Германика. Слухи разрастались подробностями о гноящихся мертвечках и полубогоревшем трупе с признаками колдовства. Верить этому он не мог, ибо знал, как тихо действует тот, кто хочет отравить врага. Пизон. Кто же еще? Неужели этот старик посмел посягнуть на жизнь будущего правителя Рима? Неужели ненависть его была так велика? Неужели так могла ошибиться Ливия? Как он мог послушать совета матери? Никогда-никогда-никогда больше! Лишь бы выжил Германик! Но Германик умер.

Скорбь охватила Рим. Город погрузился в траур. Улицы обезлюдели, закрылись лавки, никто не совершал никаких сделок, даже суды опустели. А Пизон? Что задумал этот проклятый Пизон? Он снова пишет Тиберию, обвиняя уже мертвого Германика в измене, выставляя себя верным подданным императора, вымаливая разрешение остаться наместником Сирии. Но и в далекой провинции Германик успел стать всеобщим любимцем. Пизону там больше не было места, легионеры его не поддержали. В ожидании своей судьбы он вместе с Планциной возвращается в Рим, где все ждут прибытия на родину скорбящей вдовы с осиротевшим семейством.

Агриппина явилась, как героиня древнегреческой трагедии, прижимая к груди урну с прахом мужа. Многотысячная толпа молча расступалась перед ней. Хор плакальщиц проследовал к месту погребения Германика в гробнице Августа. Римляне ожидали появления Тиберия

в черной тоге с возданием почестей умершему сыну. И точно, император отдал приказ похоронить Германика со всеми почестями, но сам так и не показался. Не было видно и Ливии. «Горе их так велико, что они не в состоянии показать Риму опухшие от слез лица», — разносился слух, пущенный кем-то из окружения императора, но этому слуху верили далеко не все.

Никто бы не назвал префекта претория Луция Сеяна красавцем. Его простое мужицкое лицо портил нос, перебитый в одном из боев. Это нисколько не мешало ему пользоваться не только успехом у женщин, но и доверием императора, к которому у него был свободный доступ в любое время суток. Вот и в день похорон Германика, получив новый пароль для преторианской охраны, он приготовился доложить Тиберию об известных ему городских пересудах.

Чтобы разглядеть следы драки, о которой говорила Ливия, близорукому Тиберию пришлось близко подойти к Сеяну. Синяки и раздутая скула подтверждали ее слова.

— Я думал, вы друзья с Друзом. Вроде ладили в походах. Что не поделили, да еще у всех на виду?

В римских термах всегда было многолюдно, любое происшествие мгновенно разносилось по всему городу, а тут такой благословенный случай посудачить: драка между префектом и сыном императора. Друз, должно быть, перебрал, за ним это водилось, но Сеяна знали как человека осторожного и воздержанного, не случайно же Тиберий поставил его во главе своей гвардии.

— Друз проиграл мне в нарды рабыню Анию, а сам ее запер и не отдал моим людям. Но дело не в этом, мой император, — Сеян понизил голос, придав ему как мож-

но больше доверительности. — Он распускает слух о том, что Тиберий приказал отравить Германика, — и Сеян замолк, ожидая реакции.

Тиберий молчал. Молчание было его излюбленным приемом в случаях, когда ответ должен быть осмотрительным. Не то чтобы он не доверял Сеяну, он просто не понимал, зачем Друзу обвинять его в смерти Германика, ведь теперь он, Друз, прямой наследник императорской власти. «Не может дождаться моей смерти?» — пробормотал он чуть внятно. В последние годы у него появилась привычка вслух заканчивать свою мысль. Это было опасно.

— Так эта Ания, стало быть, хороша?

Сеян быстро справился с разочарованием: не такого вопроса ожидал он от Тиберия.

— Ее привез Германик из Галлии и подарил Друзу. У нее высокая грудь и бедра, как у моей кобылы.

— Так ты хотел покататься на ней?

— Или покатавать ее на моем скакуне.

Тут их разговор принял характер, неподобающий для времени всеобщего траура.

Забыла о трауре и Ливия, когда ей донесли о небольшом приключении Тиберия с рабыней-северянкой, которую он купил у сына.

— Он что же, не мог на нее взобраться? — снова и снова спрашивала она, явно наслаждаясь пересказом обо всех попытках Тиберия справиться с рабыней.

— Нет, госпожа, скорее, он не мог попасть, как ни старался примоститься к ней со всех сторон.

— А что девка?

— Она приложила много напрасных сил, госпожа.

Рассказ о бессилии сына забавлял престарелую мать. В последние годы жизни Августа они утратили интерес к подобным утехам. Старость добралась и до них,

но в молодости, когда Август еще был Октавианом, они предавались любви каждый раз, когда желание настаивало их. Теперь только боги знают, как часто это было. Ливия с улыбкой вспоминала эти моменты, а ведь Август любил ее, когда она была беременной от другого, и взял ее в жены, как только она разрешилась от бремени. Значит, всевышним был нужен их союз, иначе, разве прожили бы они вместе почти пятьдесят лет, это в Риме-то, где оставить жену было так же просто, как пойти на базар за новой приправой.

Закрыв глаза, Ливия вспоминала Августа, читающего ей строки:

В бокал любви безумства яд плесни,
Прекрасная, как солнце, Ликерида!
Представ в воздушном образе Сильфиды,
Чудесной песней в сердце зазвени!¹

Она была его Ликеридой... Но что-то обеспокоило ее на этот раз. Ливия открыла глаза. Что? Яд в бокале... Приятные воспоминания исчезли. Вот она, тревожащая мысль: «Неказистая» разносит по всему Риму слух, что ее мужа отравили по приказу Тиберия. У Ливии был свой доносчик в доме Агриппины, от которого она знала обо всем, что там происходит. Естественно, вдова хочет расследования и наказания виновных в смерти мужа. Это Ливия понимала, но при чем тут Тиберий? А что, если Германик умер, заболев страшной восточной болезнью, а вовсе не был отравлен? Мысль Ливии направилась в привычное русло: уж не задумала ли невестка заговор против императора? Недаром же она упоминает своего деда — божественного Августа. Что может быть опаснее прямого родства?

¹ Из стихотворения древнеримского поэта Корнелия Галла.

Как только закончился траур, римляне вспомнили о Пизоне. Все знали, что он виновен в смерти Германика, даже если он и не был в ней виновен. И все же надежда теплилась в сердце Пизона, ведь это Тиберий отправил его наместником в Сирию с понятной им двоим целью, о которой говорить вслух не приходилось. А что, если принцепс, как верховный судья, сам проведет расследование и оправдает Пизона? Но совсем другие мысли терзали Тиберия. Он-то знал, что никто не поверит в его беспристрастие, Рим разбухал от слухов о его причастности к отравлению. Нужно было срочно принимать решение. Молчание становилось все более подозрительным.

Цыплята быстро склевали просо, рассыпанное Трасилом у ног императора.

— Хороший знак, — осклабился гадатель. — Боги дают тебе знать, что твое решение верно.

И Тиберий, наполнив скорбью речь о рано ушедшем приемном сыне, передал сенату разбирательство дела Пизона. Но сенат оказался далеко не беспристрастным. Обвинения сыпались на голову Пизона, причем, даже в государственной измене, чего он никак не ожидал. Растерянный старик в суде, дома он повел себя как истинный римлянин, упав на свой меч. Пламя, пылавшее в груди всех жаждущих возмездия, потухло. Вина Плацины доказана не была, и ее просто отпустили восвояси.

Тиберий устал. Иногда, впав в дремоту над табличками с донесениями, он видел короткие сны, даже не сны, а проносающиеся видения: молодое лицо Випсании, обращенное к нему, или тельце только что родившегося сына, которое он берет на руки. Пробуждение возвращало его в одинокую действительность. Империя, ее благо, стало смыслом его жизни.

И никого рядом, только карта владений Рима на его столе. Тиберий склоняет голову, расправляет свиток пальцами, покореженными в походах и боях, капает горячим маслом из светильника на моря и провинции, прожигая дыры на карте. Еще Вергилий говорил, что миссия римлян — господствовать, а миссия Тиберия — укреплять это господство. Но сейчас он устал. Нет сил даже полюбоваться заходом солнца. Скоро стемнеет. Загорятся костры у палаток преторианцев, охрана с факелами обойдет его дворец. Какая-то мысль тревожит старика. Друз! Теперь только он остается наследником императора. «Завтра же напишу письмо в сенат с просьбой назначить его трибуном, — думает старик, — а теперь спать-спать-спать». Рабы укладывают его в постель. А что же страх? Где прячется эта волчица? Она устала тоже.

Бабка Ливия растила Друза Тиберия после того, как Август заставил развестись его родителей. Сенатор Галл, женившийся на Випсании, любил пасынка, а вот родной отец не испытывал к нему никаких особых чувств, но доверял важные поручения, как и Германику. После смерти Августа двоюродные братья подавляли мятежи легионеров в разных частях империи. Причем Друз быстро справился с бунтом, правда, благодаря солнечному затмению, которое напугало мятежников. С тех пор возле него все время крутился Сеян. Ливия его терпеть не могла, зато Тиберий питал к нему какую-то странную привязанность. Чутье старой женщины говорило, что тут какое-то нечистое дело, уж не приволакивается ли Сеян за женой Друза Ливиллой¹, известной во всем Риме красавицей? Зная вспыльчивый и драчливый характер Друза, она не

¹ Дочь Друза-старшего — брата Тиберия и Антонии — дочери Марка-Антония.

поделилась с ним своими сомнениями, которые не затихли и после рождения близнецов. «Чьи же это сыночки?» — думала Ливия, осматривая младенцев, протянутых ей рабыней. Сказать было нечего, младенцы как младенцы, но лицо Ливиллы показалось ей лживым. Неожиданно для всех обрадовался Тиберий, объявивший в сенате о рождении внуков.

— На свет появились наследники! Теперь можно спокойно умирать! — говорил он Трасиллу, одаривая того подобием улыбки.

«Как бы не так», — думал Трасилл, склоняя голову перед Тиберием.

В тайно составленном гороскопе он уже прочитал трагическую судьбу всего императорского семейства, но разве можно было об этом кому-нибудь говорить? Конечно, нет. Вот он и молчал.

Ливия заикнулась было о Сеяне, мол, слишком фамильярен с Ливиллой, но Тиберий замахал на нее руками: предан и чуть жизнь за него не отдал, спасая из-под обломков обрушившегося грота. «Бывает же такое везение», — Ливия пожала плечами, подвески звякнули на ее обвисших ушах.

О смерти Випсании Тиберий узнал в курии¹, где какой-то угодник шепнул ему о трауре сенатора Галла, потерявшего на днях жену. Тиберий сжал беззубый рот и не проронил ни слова, но дома велел отыскать в библиотеке свиток со «Скорбными элегиями» Овидия и читал опального поэта, пока могли видеть строки его слезившиеся глаза.

Только лишь вспомню, как я со всем дорогим расставался, —
Льются слезы из глаз даже сейчас у меня².

¹ Место проведения заседаний римского сената.

² Перевод С. В. Шервинского.

Он не виделся с Випсанией много лет, но всегда чувствовал ее присутствие, пытаясь получить воображаемый кивок в знак одобрения или молчаливый упрек в знак осуждения. И вот теперь она ушла, правда, был жив Друз, который нес в себе ее часть, но через три года умер и он. А потом умер и один из внуков-близнецов. Как горьки утраты старика. Богам было угодно, чтобы на старости лет Тиберий потерял близких и любимых людей. Но жива еще старуха Ливия. Кожа ее сморщилась, зубы выпали, но ум не притупился. Правда, советы матери раздражают императора, он давно их не слушает, а напрасно. Она-то шамкает о том, что он и сам понимает:

— Смотри, кому выгодна смерть твоего сына. Ищи врага там.

Зачем искать, когда все и так на виду? Агриппине выгодна эта смерть! А ведь Друз любил ее, любил ее мужа Германика, своего брата. Но «Невзрачная» хочет того же, чего когда-то хотела Ливия для своего сына — власти! Она — внучка божественного Августа. У нее три сына, и уж какой-нибудь из них да станет императором. Но на пути этот проклятый старик, уморивший голодом ее мать. Почему он всё никак не отправится в Тартар? Сколько ей еще нужно ждать?

А Ливия всё шамкает и шамкает: зачем столько власти у Сеяна? У него же под рукой целая армия. Думаешь, твоя защита? А что, если он настроит преторианцев против тебя? И потом, что это он шепчет на ушко Ливилле когда та хохочет, запрокинув голову, не сняв траура по умершему мужу? Да посмотри ты уже своими близорукими глазами, все пути ведут к префекту.

Проснулась волчица, вонзилась в горло Тиберия. Ему тяжело и тошно. Ему надоели подобострастные лица сенаторов, их восхваления и славословия, их лесть, заливающая ему уши. Он не верил ни одному их слову, велел страже отгонять сенаторов от своих носилок, но когда какому-то просителю все же удалось пробраться к Тиберию и броситься к его ногам, он так отшатнулся, что упал навзничь. Бедный старик, ему все было просто и понятно на войне, но как все стало сложно сейчас.

— А ну-ка, доченька, — Тиберий без приглашения явился в дом Агриппины на второй день Сатурналий¹, — дай-ка мне поближе взглянуть на внуков.

Неплохая это мысль — напугать врагов, застигнув их врасплох.

И точно! В зале для гостей полно народу, горят праздничные свечи, на домашнем алтаре остатки жертвенной свиньи. «Надо же, и безутешный вдовец здесь!» — Тиберий разглядел Галла, стоявшего среди других сенаторов. При появлении незваного гостя оживление стихло, руки взметнулись приветственным салютом императору. Тиберий небрежно отмахнулся:

— Я император для солдат, для вас я — принцепс, а для детей Агриппины — дедушка. Слух идет, они все пошли в славного Германика. Не пора ли приобщать их к государственным делам?

Агриппина подозвала сыновей. Старший, Нерон, и впрямь вылитый отец: высокий, белокурый, с открытой улыбкой. Средний, Друз, напоминает мать некрасивостью лица.

¹ Праздник в честь бога Сатурна. Рабы в этот праздник получали особые права.

— А! Так это ты Калигула, о котором так много говорят? Ну, покажись.

Перед Тиберием стоит мальчик лет двенадцати с кудряшками, свисающими на лоб, и наглыми глазенками, без страха смотрящими на старика.

— Я видел тебя, император, на гонках колесниц и на гладиаторских боях.

— Вот как? А я видел, как ты, тогда еще совсем малыш, нес урну с прахом твоего отца.

Какая ложь. Тиберий не посетил похороны Германика, не мог видеть того, о чем говорил, и все это знали, но, тем не менее, он продолжил:

— Хочешь стать таким, каким был наш Германик?

Калигула сверкнул глазенками в сторону матери. Та с напряжением следила за разыгрывающейся сценой.

— Я хочу стать таким, как ты! — выпалил мальчишка.

Наступившую тишину нарушил смех Тиберия:

— Молодец! Теперь я вижу, что ты и вправду храбр. Значит, ты и тогда не испугался, когда пьяные легионеры ворвались к вам в палатку. Они ведь могли вас всех убить.

— Нет, император! Я был готов порубить их своим мечом!

— Да не слушайте вы его! — вмешалась наконец Агриппина. — Что он может помнить? Ему тогда было всего два года.

Разговор принимал опасный оборот, Тиберий мог все истолковать во вред ее семейству, но остановить старого да малого ей не удалось. И точно! Добрый дедушка Тиберий привлек мальчика к своим коленям:

— Я слышал, у тебя даже были маленькие доспехи, наколенники и крохотные сапожки, в которых ты щеголял

по лагерю, маленький Калигула¹. Легионеры тебя любили, они говорили, что ты приносишь им удачу.

Потом он перевел взгляд на Агриппину, как бы ожидая подтверждения своим словам. Она выдержала взгляд близоруких слезящихся глаз.

— Когда я надевала ему обычное платье и сандалики, он начинал плакать и требовал, чтобы ему дали меч и сапожки. Солдаты брали его к себе в палатки, но он, конечно, ничего этого не помнит.

— А вот и помню! — голос Калигулы поразил старика своей пронзительностью. — Я даже помню, как кто-то из них сажал меня на плечи и пел:

В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос:
Это ль не знак, что ему высшая власть суждена?

— Довольно, Калигула! Хватит хвастать, — вмешался его старший брат Нерон, — ты у нас всем известный герой, бьешь птиц камнями в бабкином саду.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут в зал ворвались дочери Агриппины с криками: «Музыканты! К нам пришли музыканты!».

«И в самом деле, это же праздник!» — Тиберий жестом подозвал к себе Агриппину:

— Не обращай внимания на старика, доченька. Гости хотят веселиться, веселись и ты. У тебя прекрасные дети, думай о будущем, а не о печальном прошлом.

Агриппина так низко склонила голову в знак благодарности, что никто не увидел, как сверкнули от ненависти ее глаза.

¹ Уменьшительное прозвище от слова «калига» — солдатский сапог древнеримских воинов.

Холодная заря разливалась по небу над Римом, когда Тиберий возвращался домой. Слуги были так пьяны, что чуть не выронили его из носилок. Он хотел было отхлестать плеткой нерадивых выпивох, но вспомнил, что в Сатурналии рабам прощается всё, да и сам он был не трезв, хотя в доме Агриппины пил мало и только после того, как другим гостям наливали вино из того же сосуда. Завернувшись в теплый плащ, Тиберий приоткрыл занавески. Рим медленно просыпался после ночной вакханалии. В рассветном тумане проступали очертания величественных храмов, несло мочой и дешевым вином, на дорогах валялись останки жертвенных животных, растасканные собаками, но уже замерцали огоньки пекарен и термополий¹, какой-то человек набирал в кувшин воду из фонтана, не обратив внимания на императорские носилки. «А славно я переполошил курятник, — Тиберий отыскал на небе бледнеющую луну. Скоро-скоро начнется новый день. — Не спросить ли Трасилла, что мне делать с главной курицей?». Он вспомнил испуганное лицо не ожидавшей его прихода Агриппины, лиц ее гостей он не мог разглядеть, они сливались в мутные пятна, но он чувствовал исходящую от них настороженность. «И в кого она такая некрасивая? — Тиберий задернул занавески и откинулся на подушки. — Агриппа и Юлия были хороши собой. Знать, не за красоту любил ее Германик».

На какое-то мгновение он задремал, но пробудился от очередного толчка споткнувшегося слуги. В памяти тут же всплыло волевое лицо Агриппины с ненавидящим взглядом, устремленным прямо в его душу.

¹ Трактиры.

Судя по запущенному виду покоев Тиберия, рабы и здесь отметили праздник на славу. Только один мальчик вышел ему навстречу, освещая дорогу факелом. Он же помог старому человеку снять тогу. Увидев тело, покрытое язвами и шрамами, мальчик не смог скрыть смущения, но тут же потупил взор, прикрыв глаза длинными ресницами.

— Ты не попадался мне раньше, — Тиберий улегся на ложе и велел мальчику накрыть его покрывалом. — Как тебя звать?

— Ахмат, мой господин.

— Так ты с Востока.

— Из Сирии, мой господин.

— Неплохо говоришь на латыни.

— Еще я могу говорить и читать на греческом, — нарушил Ахмат урок, данный ему взрослыми рабами: никогда ничего не рассказывать о себе хозяину.

Тиберия не заинтересовали слова мальчика, ему не терпелось остаться одному, и он отослал его прочь. Но что-то продолжало тревожить старика. Воспоминания о вечере в доме покойного Германика не давали ему покоя.

— Мальчик! — позвал он Ахмата.

Тот появился довольно быстро в утреннем свете, заливающим покои.

— Ты сказал, что умеешь читать на греческом, — среди свитков, наваленных на полках, Тиберий велел найти ему «Илиаду».

Когда мальчик протянул ему нужный свиток, он велел отыскать там отрывок о Ниобе. Прошло достаточно времени, прежде чем отрывок был найден. Тиберий терпеливо ждал.

— Теперь читай, — наконец сказал он.

Неуверенно, но громко Ахмат начал:

Пищи забыть не могла и Ниоба сама, у которой
Разом двенадцать детей нашли себе смерть в ее доме, —
Шесть дочерей и шесть сыновей, цветущих годами.
Стрелами юношей всех перебил Аполлон сребролукий,
Злобу питая к Ниобе, а девушек всех — Артемида.
Мать их с румяноланитной Лето пожелала равняться:
Та, говорила, лишь двух родила, сама ж она многих!
Эти, однако, хоть двое их было, но всех погубили¹.

— Знаешь ли ты, кто такая эта Ниоба? — прервал чтение Тиберий.

Мальчик не знал.

— Глупая женщина, решившая, что она может хватать своими детьми перед богами. Как видишь, это плохо кончилось. А теперь ступай.

Казалось, он заснул. Но нет, старик не спал. Он думал. Разве не все он делал, чтобы достойно управлять империей, завещанной ему Августом? Разве не процветала эта империя? Разве не были крепки ее границы и не были отбиты все враги, посягавшие на эти границы? Разве не справился он со всеми мятежами и заговорами против верховной власти? Разве умалял он голоса сенаторов, терпеливо выслушивая их мнения, соглашаясь во многом? Так почему же кто-то из них примкнул к Агриппине? И это в момент его высшей печали, когда он потерял единственного сына, когда малы его внуки! А как они заискивают перед ним, как раболепны! Но ведь народ любит ее! У нее трое сыновей, сыновей Германика! Наверное, права Ливия, он не умеет нравиться, но он такой, какой есть. Так что же ему делать? Решение пришло само собой, когда солнце осветило Рим своим победным сиянием.

¹ Илиада, песнь 24. Перевод В. В. Вересаева.

Как только закончились Сатурналии, Тиберий явился в сенат и велел ввести в курию старших сыновей Германика. Взяв их за руки, он обратился к сенаторам со словами: «Я умоляю и заклинаю вас перед богами и родиной, примите под свое покровительство правнуков Августа, потомков славнейших предков, руководите ими, выполните свой и мой долг!».

Говорят, многие из сенаторов прослезились. Про глаза Тиберия трудно было что-либо сказать, они и так слезились всякий раз, когда старику приходилось их напрягать. Кто же откажет в покровительстве детям героя после такой просьбы? Никто и не отказал. И Нерону, и Друзу была дана должность квестора¹, по годам им еще не положенная. Так хотел Тиберий Клавдий Нерон, и это его желание было исполнено. Пусть весь Рим знает, как он заботится о правнуках Августа. И Рим узнал, но позднее.

В один из вечеров Тиберий взобрался на верхний этаж своего дворца, где жил его предсказатель и астролог Трасилл. Два старика долго и молча любовались звездным небом. Наконец Трасилл нарушил молчание:

— Так ты не видишь это?

— Что там? Мои глаза гораздо хуже твоих.

— Первый раз вижу такое близкое расстояние между Сатурном и Марсом.

— И что? Что ты думаешь об этом?

— Трудно сказать, но ты, ты будь благоразумным.

Голос предсказателя показался Тиберию грустным, даже скорбным.

— Разве я бывал когда-нибудь неблагоразумным?

— Твое прошлое безупречно, — сказал Трасилл, а что он подумал, никто, кроме него, не знал.

¹ Низшая государственная должность.

Что значил этот разговор? Расспрашивать Трасилла было бесполезно, хитрый грек увернулся бы от прямого ответа в любом случае. Уже в своих покоях Тиберий думал о том, что оказался совершенно одинок на старости лет. Печаль давно заливала его сердце. Еще он думал о том, как надоели ему ежедневные посетители, толпящиеся в его дворце, надоели шум и вонь римских улиц, а теперь еще привязались семейные дразги. Почему все так сложно? Хотелось вдохнуть морской воздух, подставить больное тело целительному ветру, хотелось бежать. Разве мог он себе это позволить?

— Мальчик! — позвал он Ахмата. — Достань мне свиток со стихами Горация и зажги светильник.

Ахмат уже неплохо разобрался в библиотеке своего господина.

— Теперь читай. Начни со строк:

Не вновь ли, о корабль, добыча непогоды,
Ты мчишься по волнам и пенишь бурны воды?

Мальчик продолжил по складам:

Зачем не в пристани ты держишься своей?
Иль мало испытал свирепости морей?
Уж веслы прочь летят! уж стонут крепки снасти,
И щогла, затрещав, распалась на части!
Куда без ветрил ты направишь свой полет?
Спасителей-богов с тобою боле нет!

— Ну все, хватит, — прервал его Тиберий. — На греческом ты читаешь лучше. Дай мне свиток и ступай.

Ахмат удалился, шлепая босыми ногами. На распросы рабов, рассердился ли на него хозяин, он пожал плечами.

Тиберий не стал раскрывать свиток. Он помнил наизусть:

Смолистая корма готова сокрушиться,
И вихрем вздутый вал к ней с смертию стремится!
Ни имя славное родной твоей страны,
Ни ребра, что из сосн понтийских сплетены,
Испуганным пловцам ничто уж не защита.
Коль милует еще судьба тебя сокрыта —
Не будь в бездействии! Ах, сколько горьких слез
И страха мне, корабль, недавно ты нанес!
Брегись опасных скал, брегись цикладской мели:
Могучи корабли от них не уцелели¹.

— Не будь в бездействии... — повторил Тиберий.

Нет, он не даст затонуть этому кораблю. Не даст, не даст, не даст! Пока жив, не даст, потому что они едины: Тиберий Клавдий Нерон и Рим.

Мысль была простой, как и понимание того, что за ней следует. Конечно, первая на очереди Агриппина с ее выводком, но надо бы узнать всех, кто к ней примкнул. Помощник в этом деле всегда рядом: Луций Сеян. Вот он с утра за дверью, как верный пес в ожидании приказов. Тонзор с трудом справляется со щетиной на его лице. От него воняет конюшней и благовониями, кажется, Ливилле нравится эта смесь запахов. Говорят, Сеян прогнал ради нее жену. Небось, хочет войти в правящую семью. Это вряд ли у него получится. Тиберий не намерен потворствовать смешению императорской крови с собачьей и никогда не позволит Сеяну жениться на Ливилле. Пес должен служить, отгонять волчицу от хозяина, питаться объедками с его стола и бегать за сучками по всей округе, но не более того.

¹ Гораций «Корабль». Перевод М. Милонова, 1819 г.

У Сеяна уже и список есть, в котором имена людей, оскорбивших величество императора. Все они из окружения Агриппины. «Что с ними делать?» — спрашивает он Тиберия. Как что? Карать.

Так началось то, что старики успели забыть, а молодые, родившиеся при Августе, еще не знали. Всемогущие боги! Что стало с благоразумным Тиберием? Ведь он же сам когда-то говорил, что в свободном государстве должны быть свободны и мысли и язык! Как рука его не устала прикладывать перстень с печатью к смертельным приговорам? Дня не проходит без казни, даже в новый год был казнен человек. Казненных запрещалось оплакивать. Зато их имущество растаскивалось доносчиками у всех на глазах. Поэта судили за то, что он в трагедии посмел порицать Агамемнона, историка судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними из римлян: оба были тотчас казнены, а сочинения их уничтожены, хотя лишь за несколько лет до этого открыто и с успехом читались перед самим Августом. Вызванные в суд закалывали себя дома, уверенные в осуждении, избегая травли и позора; многие принимали яд в самой курии; но и тех, с перевязанными ранами, полуживых, волокли в темницу.

«Уж не помутился ли его разум?» — спрашивала себя Ливия, слушая донесение осведомителя о последних новостях.

— По Риму ходит преступный стишок, госпожа, который я не рискну пересказать тебе.

— Говори! — Ливия тяжело опустилась в кресло. Слабость одолевала ее, смерть подбиралась все ближе.

— «Ты беспощаден и жесток. Пусть я умру, коли мать любит тебя, сынок!» — доносчик согнулся в три погибели. — Прости меня великодушно, госпожа, за эти строки неизвестного сочинителя, но ты сама приказала их произнести, я не смел тебе отказать.

— Лучше знать, чем находиться в неведении, — слабым жестом она приказала ему удалиться.

«Как, ну как он мог забыть наставления Августа не свергать государство в гражданскую войну? — снова и снова вопрошала себя несчастная старуха. — Как он мог попасть под влияние этого негодяя? Как не понимает, что в руках Сеяна он простое орудие?»

Ливия любила своего сына даже сейчас, когда он превращался в чудовище на глазах всего Рима. Но что она могла поделать? Только написать письма: одно Тиберию и другое — Агриппине. Сына она умоляла пощадить Агриппину. Агриппину — смирить гордость и выказать почтение императору.

Тиберий давно не слушал советов матери, но ее письмо с напоминанием последних слов Августа тронуло его. Что, если Божественный гневается за нарушение обещания хранить мир в Риме? Он велел рабам развести жертвенный костер, чтобы Август принял его покаяние и простил. И надо же было так случиться, что в самый разгар заклания к нему во дворец явилась незваная Агриппина, решившая последовать совету Ливии. Кровь ударила ей в голову, и совет смирения был забыт, как только она увидела ненавистного Тиберия, приносящего жертву Августу, ее деду.

— Так вот ты каков! Хочешь выпросить прощения у великого Цезаря за то, что преследуешь его потомков?

Медленно повернул к ней свое лицо Тиберий. Как страшен был он в эту минуту: покрытая кровавыми струпами кожа, бесцветные глаза, слезящиеся от дыма костра, хриплый, а когда-то громкий и четкий, голос.

— Не тем ли ты оскорблена, что не царица ты? — прошипел он. И добавил, издеваясь уже откровенно: — доченька...

Бедная, бедная Ливия, ей так и не удалось примирить непримиримых. Тиберий не соизволил посетить ее похороны, он редко появлялся даже в сенате, поддерживая связь с миром через Сеяна, превратившегося в посыльного смерти. Каждый день приносил он списки известных в Риме людей, посягнувших на величие императора. Их ожидал один и тот же конец. Но странное дело: чем больше убивали людей по приказу Тиберия, тем больше ему самому хотелось жить. Теперь уже никогда не выходил он из своего пустующего дворца, не надев золотой панцирь, не подвесив сбоку короткий меч. Еще совсем недавно, до принятия закона об оскорблении величества, римляне могли увидеть его пешим в сопровождении только свиты из ликторов. Сейчас он выезжал в сенат на императорской колеснице с эскортом четырех боевых квадриг, управляемых преторианскими гвардейцами. И хотя сенаторы откровенно раболепствовали, встречая гулом одобрения очередной приговор, Тиберий в напряжении ожидал нападения какого-нибудь выскочки с кинжалом под тогой. Ночами мальчик Ахмат спал у его ног как собачонка. «Какой от него толк господину? — судачили рабы. — Видать, не случайно сириец так растолстел!». Ахмат хранил мол-

чание, выведать что-либо у него было невозможно, и никто не догадывался, что старика просто успокаивало безмятежное посапывание ребенка.

Мальчик и впрямь растолстел на зависть другим: Тиберий не брал ни одного куска в рот, не дав ему попробовать первому, для пробы вина у него был другой раб. Но что бы ни предпринимал Тиберий, его продолжали терзать приступы страха. Проклятая волчица не разжимала клыки на его горле.

— Так уезжай из Рима, — как-то сказал ему Трасилл, оторвавшись от наблюдения за звездным небом, — покинь Рим, и Рим покинет тебя, — мудрый астролог знал обо всех страхах своего господина, — звезды благоприятствуют. Спешу.

«Почему бы и нет, — задумался Тиберий, — вот и Сеян советует проехаться по провинциям, показаться народу, напомнить о том, что я жив и здоров, — и добавил вслух, — пока “Невзрачная” не отравила меня». Агриппина же, практически запертая в своем доме, боялась того же. Она почти перестала есть, и если огонь жизни еще теплился в ее иссохшем теле, то только благодаря вере в возмездие богов, в котором она хотела убедиться, пережив врага. Но не пережила. Тиберий срочно написал письмо в сенат, обвиняя Агриппину в заговоре против императорской власти, значит, против него. Досталось и ее старшему сыну Нерону. Сенат должен был принять срочные меры, но замешкался. Речь все-таки шла об императорской семье. Потребовалось еще одно письмо Тиберия, требовавшее передачи ему права защитить самого себя, раз сенат не в силах защитить его. И такое право он получил. Агриппину отправили на Пандатерию, тот самый остров, где много лет назад то-

милась ее мать Юлия, а Нерона сослали на другой скалистый островок вдали от побережья. Не забыли и его брата Друза, которого заморили в тюрьме.

Сеян доложил сенату, что семейство Германика готовилось к побегу на Рейн в надежде поднять восстание против Тиберия.

Префект приложил немало усилий для уничтожения потомков Друза. Как же наивен был престарелый император, думая, что тот старается для него. Нет, он не жалел о расправе над «выводком» брата, он просто стер воспоминания о несчастных из своей памяти, но предательство «верного пса» — это совсем иное дело.

А все началось с того, что на Капрею прибыл слуга Антонии¹ с письмом своей госпожи, где прямо говорилось о заговоре ее дочери Ливиллы и Сеяна с целью убить Тиберия и захватить власть. «Недаром этот мерзавец хотел на ней жениться! — вдруг озарило Тиберия. — Сам-то он безроден, а эта курица, мерзавка, — подумать только, дочь Друза! — спаривалась с черным кобелем еще при жизни моего сына. Уж не отравили они его и вправду?». Об этом давно ходил слух по городу, но тогда Тиберий отметал все подозрения, доверяя Сеяну. Ну что ж, теперь он был готов пожинать плоды своей доверчивости. Нет, он не велел сразу же схватить префекта. Ведь предупреждала, предупреждала его старуха-мать, что нельзя собирать гвардейцев в одном месте под командованием одного человека, что это опасно!

¹ Вдова Друза — брата Тиберия, мать Ливиллы и Германика, бабка Калигулы.

Нет, не слушал. Отмахивался от всего, что она шамкала ему на ухо. Вот и пришлось осторожно плести сети, расставлять приманки. Для начала он дал Сеяну должность консула, пообещав в скором будущем звание трибуна, что, по сути, означало получение права наследства императорской власти. От такого успеха у Луция Сеяна немного закружилась голова, и он как-то не особенно озаботился тем, что его место префекта занял Квинт Макрон. Преторианцам раздали по тысяче денариев, купив их поддержку, а дальше была разыграна пьеса, пересказом которой наслаждался главный сочинитель, остававшийся на Капрее.

Сеяна вызвали в сенат для прочтения письма императора. Уже в дверях его начали наперебой поздравлять с получением должности трибуна. Самодовольная улыбка засияла на лице с перебитым носом, он напыщенно принимал поздравления, словно уже получил должность, пока один из консулов не начал читать письмо Тиберия. В наступившей мертвенной тишине прозвучали упреки и обвинения, из которых стало ясно, что Сеян не будущий трибун, а заговорщик и преступник. Можно только догадываться, что с ним произошло, когда он понял, что попал в западню.

Консул же продолжал:

— Последует ли сенат предложению императора взять под стражу и арестовать немедленно Луция Элия Сеяна?

— Да-да-да! — закричали со всех сторон.

Это были те же самые люди, которые подобострастно поздравляли Сеяна всего за полчаса до прочтения письма. Теперь с ним все было кончено.

Ну, а что же Тиберий сделал с Ливиллой? Все-таки она была матерью его единственного внука, оставшегося в живых после смерти близнеца-брата. Но был ли мальчик сыном Друза? Что, если он — отродье проклятого Сеяна? На старика снова накинудись сомнения. Вдруг мать Ливиллы сможет их развеять? Письмом он вызвал Антонию на Капрею. Ему было за что благодарить эту женщину, в глазах которой он всегда оставался законным правителем Рима. Антония просила императора не покрывать позором ее род, казнив Ливиллу и бросив ее тело в Тибр.

— Я накажу ее сама, — сказала она.

И наказала, заперев дочь в комнате и уморив голодной смертью.

Некоторые римские матроны отличались стойкостью и приверженностью своим представлениям о долге и чести.

И снова Тиберий на краю утеса вглядывается в синеву безмерного пространства. У тропы наверх он всегда отпускает слуг и взбирается сам, опираясь на посох. Время от времени до них доносятся невнятное бормотание и вздохи старика. Уж не мучает ли его совесть? Уморить столько людей, чтобы жить самому. Но у него, как и у Антонии, было свое представление о долге. Этот долг требовал передачи власти, власти, которую он не любил, а тех, кем правил — презирал. Но кому? Может, это там, стоя на самой высокой скале острова, надумал он выписать из Рима Гая Цезаря, того самого мальчонку, которого прозвали Калигулой? Шустрый такой малыш. Он один остался в живых из трех сыновей Германика.

— А ну-ка, подойди, дай мне получше разглядеть тебя.

Гай Цезарь, привезенный Макроном по указанию императора на Капрею, нисколько не робея, подошел к старику, сидящему в кресле.

— У тебя тонкие ноги, как у Германика. Император должен быть безупречен во всем. Ты ведь хотел быть таким, как я. Помнишь? В твои годы мне приходилось много ходить и ездить верхом. Жизнь в походах закаляет.

Лицо Калигулы не выражало ничего, кроме почтения. В голубых глазах не было и проблеска ненависти. Прямо и спокойно взирали они на престарелого императора. В свои девятнадцать лет он многое успел пережить, но, как учила его бабка Антония, встречал удары судьбы спокойно и достойно. Отсутствие раболепия во взгляде юноши понравилось Тиберию.

— Хочешь погостить у меня здесь, на Капрее? — спросил он юношу.

— Почту за честь, император.

— Вот и прекрасно.

Так началась новая жизнь юного Гая Цезаря при дворе убийцы его матери и братьев.

«Император должен быть во всем безупречен», — повторял Калигула слова «дедушки», взбираясь по самой крутой лестнице острова. Он слышал, ее вырубili в скале еще финикийцы за сотни лет до появления здесь римлян. «Тонкие ноги, как у Германика, — ненависть несла Калигулу наверх, — придется тебе взбираться по финикийской лестнице каждый день. Говорят, там тысяча ступеней. Сам-то я уже стар проверить, а те-

бе полезно для укрепления ног!» Не тысяча, а семьсот семьдесят семь! Почему-то это число казалось Калигуле значительным. Шпион, приставленный к нему Тиберием, не поспевал за проворными тонкими ногами. Наверху, на вершине утеса Калигуле удавалось оставаться какое-то время в одиночестве. Где-то далеко в бескрайнем голубом пространстве расположен остров Пандатерия, где в мучениях умерла его мать. Макрон, взяв с него клятву о молчании, поведал, как Агриппину кормили насильно по приказу Тиберия, когда она хотела уморить себя голодом. «Они избивали ее», — повторял слова Макрона Калигула. Мысленно он молил богов дать ему крылья, чтобы взлететь над Капреей и отправиться туда, на тот остров, где бы он нашел могилу и оплакал ее смерть. А еще в далеком пространстве есть маленький островок, где умер его брат Нерон. Проклятый старик извел и брата Друза, приказав умертвить его в тюрьме.

— Ну, что ты делал на вершине утеса?

Вот он возлежит как ни в чем не бывало у стола, заваленного яствам, которые не может есть. Калигула же набрасывается на все подряд, набивая полный рот и торопливо жуя. Работают молодые челюсти на зависть старику. Того и гляди вопьются зубы в его дряхлую шею.

— Любовался видами Везувия, Цезарь!

— Прекрасная, должно быть, картина.

Тиберий знает, что Гай говорит ему далеко не всё. Недавно шпион донес о том, как он забил камнями синюю ящерку, а сказал, что любовался ее необыкновенным цветом. Та же участь постигла и скульптуру кариатиды в отдаленном углу сада. Досталось и одной из «рыбок», которую он просто утопил, держа силой под водой.

— Чем тебе не угодили мои спинтрии?

— Они омерзительны. Когда я стану императором, я велю их всех сбросить со скалы.

— Я и не знал, что ты так добродетелен, мой мальчик. До меня дошли слухи о твоей порочной связи с сестрой.

— Это только слухи! Друзилла никому не позволяла никаких вольностей!

Невинности взгляда из-под отросшей колечками челки мог позавидовать любой лицедей.

— А вот ваша бабка Юлия целомудрием не отличалась настолько, что Август сослал ее на Пандатерию. Там ведь скончалась и твоя мать. А знаешь ли ты, что она вступила в порочную связь с сенатором Галлом? Правда, он был староват для нее, но кого это нынче останавливает?

Молчит Гай Цезарь. Не может выдать своих чувств, потому что знает о смертельной опасности. Ничто не помешает старику убить его прямо здесь. Почему он не сделал этого раньше? Иногда Калигула задумывался над этим вопросом. И не находил ответа; может, так было угодно богам, а может, все дело было в том, что Гемелл¹ еще мал. Что будет с ним, когда внук Тиберия подрастет? Калигула старался не думать о своем будущем, вместо этого он с наслаждением представлял, как забивает камнями Гемелла, словно он та самая синяя ящерка.

Казни, меж тем, продолжались. В сенате уже почти не осталось сенаторов, помнивших правление Августа.

¹ Внук Тиберия от сына Друза и Ливиллы.

Раболепие обратилось в главную добродетель государственных мужей. Макрона, как и казненного Сеяна, одолевали честолюбивые планы. В своих расчетах он ставил карту на Гая, а не на старика Тиберия, которому пошел семьдесят девятый год. Время от времени Гаю было разрешено наведываться в Рим в сопровождении префекта и тайного шпиона. Шпион докладывал о странном поведении наследника, таскающегося по кабакам в женской одежде с накладными волосами на голове.

— И что, он действительно похож на женщину в таком облачении и даже принимает ухаживания мужчин? — неожиданно заинтересовался старик.

Но тут же разочаровался, узнав, что Калигула отдает предпочтение жене Макрона Эннии, с которой у него любовная связь. Всегда подозрительный ко всем и ко всему, Тиберий не усмотрел в этом известии угрозы для себя, зато надумал отправиться в Рим. Вполне возможно, что после одиннадцати лет затворничества ему наскучил остров. Это и была его вторая и последняя попытка добраться до столицы своей империи.

Но чем дольше бегаешь от смерти, тем ближе она к тебе. Так и не доехав до городских стен, он занемог и приказал повернуть назад. До Капреи было рукой подать, но разыгравшийся шторм вынудил Тиберия остановиться на вилле в Мизене, куда за ним прилетел бог Оркус¹. Когда дыхание старика пресеклось, было объявлено о его смерти. Калигула уже принимал поздравления подобострастных слуг, набившихся в императорские покои, но тут Оркус, должно быть, отвлекся на несколько минут и выпустил тело из когтей. Старик поднялся со

¹ Бог смерти.

своего ложа и потребовал еды. Подобострастные кинулись прочь. И вот тогда маленький Калигула позволил себе наконец то, что скрывал много лет, всю свою ненависть он вложил в крик: «Так накормите же его вдоволь!». Навалившийся на Тиберия Макрон накрыл его голову подушкой и держал до тех пор, пока Оркус снова не подхватил уже мертвое тело.

ЦЫПЛЕНОК ПРИШЕЛ В КУД-КУДАКИ

Всё поехало. Значит, было на колесиках. Но колесики спрятаны под занавеской с бахромой, и посмотреть, как там устроено, нельзя. Не дают. Розка держит за руку. Больно. Я все равно вижу, створки открылись, и гроб въехал в лифт. А венки? Венки не отдадут? Розка еще сильнее сжимает мне руку. Значит, не отдадут. Створки захлопнулись, и гроб с венками на крышке провалился куда-то вниз. А колесики обратно прикатились. Вот видишь, — Поля говорит, — там внизу печка. Надо ждать часа два, пока все сгорит и нам выдадут урну. Ты пойдешь посмотри, красивые картины висят в другой комнате. Розка отпускает мою руку. Нашел комнату. На стенах, правда, красивые картины. Одна большая, стал шагами мерить длину. Насчитал пять шагов и сбился. Считаю я хорошо, почему сбился? Сам не знаю. Попробовал опять. Снова сбился и стал смотреть картину. Там высокая зеленая трава. Дерево. Думаю, в траве прячутся маленькие человечки. Они играют со мной в прятки. Смотрю, не зашевелится ли где трава. Небо в облаках. Если засмотреться на небо, можно пропустить человечков. Вот один выглянул и тут же спрятался. Тише, — кто-то в черном костюме говорит, — в этом месте не положено смеяться. Разве я смеялся? Я просто смотрю, один человечек незаметно перепрыгнул на другую картину. Там жарко, палит солнце, а он идет себе по дорожке прямо к небу. Вдруг я уже с мамой в темной комнате, совсем тем-

ной, мне маму плохо видно, она укладывается на полу и меня вниз тянет. Я сейчас лягу, но окно открыто и в него влетела крылатая мышь. Кружится, кружится вокруг моей головы и крыльями хлоп-хлоп по лицу.

— Это у него от жары, наверное, — Поля говорит, — и хлопает меня по щекам. Не больно. Мне совсем не жарко, это человечку было жарко. Я не от жары, я просто. У меня и раньше обмороки были. Отвези его к себе, — Розка говорит, — я получу урну и приеду.

Машина у Поли маленькая, мои ноги не заходят. Поля что-то делает за сиденьем, оно отодвигается. Ноги зашли, я сел и пристегнулся ремнем. Пока ехали, Поля говорила, что мне нужно правильно питаться, не случайно я такой толстый. Это от мучного и сладкого. А костюм у тебя есть? — спрашивает, — ботинки? Надо будет все твое приданое пересмотреть, может, что-нибудь дельное найдется. Приданое? Я не понял. Ну, это шутка такая, — говорит, — ты у нас завидный теперь жених. Валечка все переживала, с кем ты останешься после ее смерти. У меня так слезы из-под очков потекли, что я даже не видел, куда мы поехали.

Мне нравится у Поли дома, она нас к себе уже привозила. Муж дядя Сема. Веселый. Еще у них мальчик усыновленный. Джончик. Он китаец. Поля с дядей Семой его любят, только он писается в постель. Это на нервной почве. Мама говорит, что я тоже писался до двенадцати лет, а потом перестал и могу контролировать мочевой пузырь. Как приехали, я сразу пошел в их уборную. Джончик тук-тук, я его впустил. Давай писать вместе будем, говорю. Стали — в унитаз. Джончик старается попасть. У тебя большой такой висит, удивился. Так я и сам большой. Тетя Поля в дверь стучит: что вы там делаете, открывайте сейчас же. Я открыл. Она чего-то испугалась. Ведет меня за руку, посадила на диван. Жди тетю Розу здесь. Слышу, она

говорит дяде Семе: он же аутист. Тридцать четыре года мужчине, а он как ребенок малый, за ним глаз да глаз. Про глаз не понял. Кто теперь с ним будет? Аутист седьмого дня. Это дядя Сема смеется. Почему седьмого дня? Мама говорит, я родился таким! Да не слушай ты его, Алеша! Ему бы все поскалиться. Ты сиди, я тебе сейчас видик включу с мультиками, пока Роза не приедет. Смотрим видики с Джоником. Видики старые, я их уже видел, все равно смешно про кота и собаку. Собака за котом гоняется. Джоник смеется так, что начал икать. Поля ему попить воды принесла. Я смеялся-смеялся, вдруг заплакал. Не знаю почему. Очки краем футболки вытер, чтобы лучше видики смотреть.

Потом Роза пришла, поставила железную блестящую банку на комод. Вот урна с прахом Валечки. Он не понимает, — дядя Семен на меня смотрит, — это выше его понимания. Нет, он понимает, что она умерла, — Поля говорит. — Он переживает. Даже собаки и кошки понимают и тоскуют. Мне банку хочется открыть. Они отнимают. Там зола. Понимаешь? Зо-ла! Ты же видел, гроб в печку опустился, там все сгорело, а золу они выгребли и в урну насыпали. Мне плохо. Я хочу уйти. Роза виснет на мне. Сейчас домой тебя отвезу, говорит. Что с ним делать? Ума не приложу, — не знаю, кто сказал.

В госпитале Валечка угасала медленно, но неотвратно. Ее руки, выпростанные из-под казенного одеяла, напоминали куриные лапки. В одну лапку, из подвешенного прозрачного мешочка, по трубкам капала бесцветная жидкость. Что-то было присоединено и к ее заострившемуся носику. Изредка она открывала глаза, но никого не узнавала, так что Розка не задерживалась у ее кровати подолгу. Однажды она привела туда Алешу, но тот так заинтересовался проводами и мельканием цифр на мониторах, что его пришлось оттащить и увести.

Еще за две недели до того, как Валечка упала без сознания, она была вполне здоровой женщиной средних лет, смотрящей русское телевидение по вечерам. А когда упала, и Алеша что-то промышчал по телефону, — хорошо еще, что смог нажать кнопки, — тут для Розки все и началось. Дурдом.

— Я тебе говорю, ничего страшного не произойдет, не в Биробиджане живем. Мы в Америке. Понимаешь? В Америке!

Это она говорила Валечке, затянувшей было песню про то, что станет с Алешей после ее смерти. Валечка грустно и с какой-то надеждой смотрела на младшую сестру:

— Ведь ты его не оставишь? Все-таки он хороший, хоть и больной.

— Да куда я денусь? — отмахивалась Розка.

И впрямь, деваться некуда. У несчастного аутиста никого, кроме нее, не было.

«Вот ведь засада», — прищурив глаз, Розка затягивается и выпускает дым сигареты из носа, что ужасно смешит Алешу. Они сидят на кухне Валечкиной квартиры, с которой теперь надо что-то делать. Для начала выбросить весь хлам: кипы пожелтевших газет, — ну на хера она все это копила, — журнал «Здоровье», — это надо ж, я и не знала, что его издают в Америке, — старая обувь со сношенными каблуками, наваленная в прихожей. И запах, этот запах давно не проветриваемого помещения. Потом мебель. Сервант с зеркалом на задней стенке, чашечки на блюдечках, сервиз в цветочек. Все это до боли напоминало оставленное там, на родине, даже коврик с оленем над Валечкиной кроватью. Не хватает горки подушек, зато покрывало с тигром.

— Ты зачем покрывало сбросил на пол?

— Там тигр. Не люблю.

— Так он же ненастоящий.

— Все равно не люблю.

— Вот горюшко ты мое, а кого ж ты любишь?

— Ну там... человечков маленьких люблю. Они смешные и добрые.

Про человечков все уже слышали.

— И откуда они взялись?

— С картинки про Гулливера взялись, стали со мной дружить.

— С таким грязнулей как ты никто дружить не будет.

Она старается не смотреть на Алешу, — урод, вот урод, — вишневый компот, стекая по его подбородку, капает на и без того заляпанную футболку. Он уже умял почти всю пиццу, купленную Розкой по дороге. В коробке сиротливо лежит последний остывший кусок. Ей бы выпить сейчас и закусить этим ошметком, но винный закрыт. Не догадалась купить, дура.

— Слышь, а у мамы че-нибудь крепенького не прятано? Не знаешь?

— А вот и знаю, — лыбится урод.

— Так неси!

И ведь принес, бог знает откуда, пузатенькую бутылку «Хеннеси», может, из-под кровати достал. Розка туда уже заглядывала, там коробки какие-то. Вот ведь пропустила.

Пить коньяк из хрустальной рюмочки можно, конечно, но вроде, где-то были стаканы. Нашла. Теперь немного ледяных кубиков. До чего же хорошо хлебнуть и пиццей закусить.

Расслабляет. Роза снова закурила сигарету, положив ногу на ногу. А этот все сидит, вылупив глаза из-под очков.

— Алеша, помнишь, я тебе книжку читала: «Цыпленок шел в Куд-кудаки»? Ну, там еще были злые собаки?

Алеша молчит. Он не любит про злых собак. И с чего ей вспомнился цыпленок этот? Кажется, у него болели лапки.

— Ну ладно, ты иди, не сиди тут. Отдыхай. Завтра поедем на кладбище, где дедушка с бабушкой похоронены, и урну вставим в специальную стенку. Называется «колумбарий». С клумбой не путай. Клумбы с цветами у нас под окнами. Будем ездить к маме твоей часто. А ты бабушку с дедушкой-то помнишь?

Помычал что-то и ушел в комнату. Вот и хорошо. Додлила в стакан. Можно и безо льда. Мы не гордые. В холодильнике нашла помидор. Тоже сойдет.

— Алеш, у тебя музыка есть?

Не слышит. Ладно, можно и без музыки. Со стаканом в руке Роза идет к двухстворчатому шкафу. Тут висят Валечкины платья. Господи, кримпленовые. Это она еще с Биробиджана привезла. Роза деловито раздвигает плечики: чем бы поживиться? А вот и халатик. В халатике она еще ничего, особенно если, не застегивая пуговички, вывалить грудь, подпертую косточками бюстгалтера, потом подтянуть кверху подол. Ноги у нее чуть кривоватые, но сильные, как у футболистки. Пришлось походить-побегать. Это у цыпленка болели лапки, а у нее с лапками все в порядке. Ну что там этот урод делает?

В комнате у Алеши тихо. Он спит, не раздевшись, даже не сняв обувь. «Ладно, — думает Роза, — не стану будить».

Еще она думает о том, почему за целый вечер ей никто не позвонил, даже Поля. Подруга, все-таки, могла бы и поинтересоваться, как они тут. Правда, может, у нее самой дел много. Семен этот сенильный, да Джоник. Хороший мальчишечка. Роза почему-то вздыхает. А где стакан-то? Наверное, остался в комнате со шкафом. Идти туда? В Кудкудаки? Приходится встать, покачнувшись, и пойти искать стакан, который быстро нашелся. Значит, надо налить еще. Совсем немного. Получилось почти полный. Ну, все это можно сразу не пить. Глотками лучше, потихоньку. Розка еще в состоянии найти нужный номер в мобильнике и прислушаться к гудкам.

— Это я, — говорит она, как будто ответивший не знает, кто звонит, — твоя Донна Роза... А че это ты сразу отвечаешь? Благоверная-то где? Ну, как тебе сказать, все прошло норм. Спалили десять тысяч. Это еще дешево, без захоронения... Да. Деньги Валечки. Она всю жизнь себе на похороны копила. Да. Урна у меня... Да какие мы евреи? Мы субботу никогда не соблюдали, кошерную пищу, правда, иногда в супермаркете покупали. Бар-мицва для Алеши? Не смей меня.

Говорит она медленно, подбирая слова. Потом начинает позевывать. Лицо ее будто оплывает. В трубке голос недовольный. Громкий. Ей приходится отстранить мобильник от уха.

— Ну, есть немного, а почему не выпить? Помянула, да. Со мной. Уже спит.

Потом она замолкает, слушая голос.

— Думаешь, я отпираться буду? Это тебе Валька сказала? Когда ж она успела? А она тебе сказала, сколько мне тогда лет было? Не сказала, так я тебе скажу: пятнадцать. Я его и доносить-то толком не смогла. Так и выпал из меня, чуть ли не в валенок. Думали, не выживет, а он, видишь, выжил. Вырос большой.

Роза молчит, пока голос что-то говорит. Тянется за сигаретой, потом за стаканом. Она уже еле ворочает языком. Зачем было врать про возраст? Чтобы стало жальче или чтобы скосить себе пару годков? Ну, арифметика тут нехитрая. Сыночку-то уже тридцать четыре годочка, прибавить пятнадцать, все меньше пятидесяти. А про валенок зачем? Хотя, это правда, валенок был полон крови.

Вдруг она оживает:

— Почему это идиот? Он кое в чем разбирается лучше нас с тобой. В чем? Ну, в планшете разбирается... Читать умеет, читает. Ладно... И тебе спокойной.

Отключившись, Роза тут же засыпает, уронив голову на заваленный кухонный столик.

Спит она крепко, на этот раз ей не снится ее частый сон: двухэтажный дом напротив железнодорожного вокзала на Октябрьской улице, с облезшей розовой краской, покрывавшей когда-то старые стены. Не снятся окна их комнаты, выходящие на сквер Победы с памятником воину-победителю. Не снится река Бира и дальше, за рекой — сопки красно-коричневые, орехово-ягодные, в легком предрассветном тумане. Оттуда они родом, из того затерянного в тайге города, из тех мест, о которых, смеясь, говорил их отец, это хоть и восток, но дальний.

Среди ночи Роза просыпается и, отерев слюну, уходит в комнату, где заваливается на кровать Валечки. И только утром, перед тем как что-то грохнуло на кухне, к ней приходит сон: бежит старшая ее сестричка с кульком новогодних подарков в руках, бежит она Розочке навстречу, но, поскользнувшись, падает. Кулек рвется, из него вываливаются мандарины и конфеты «Ласточка» в желтой обертке. Роза и во сне точно знает, что это были «Ласточки». Ей отчетливо видны оранжевые и желтые пятна на снегу, но почему-то она не помогает Валечке встать, а подбирает мандарины с конфетами. И уже окончательно проснувшись, Роза понимает с новой силой, что Валечки больше нет.

На кухне, господи боже мой, на подоконнике открытого окна стоит Алеша и сыплет золу из урны куда-то вниз, людям на голову. У Розы тошнота подошла к горлу, и задрожали ноги.

— Алешенька, там к тебе в комнату человечков набегало видимо-невидимо. Иди скорей, а то они балуются там... в комнате.

Тот неуклюже поворачивается к ней большим телом.

— Ты мне руку дай, осторожненько.

Доверчиво дает руку и шагает вниз на подставленный стул. Роза тихо закрывает окно, поднимает с полу крышку от урны, идет в ванную и видит там свое лицо в зеркале над раковиной.

— Ой-вэй, наша дочь некейва! Посмотрите, она опять куда-то собирается!

В зеркале уже не она, вернее, она, но много лет назад, когда не было еще в ее жизни толстого неуклюжего идиота, хныкающего где-то рядом.

— Ну чего ты там, Алеша?

— Нет тут никаких человечков. А где мама?

Мама топчется за ее спиной, заглядывает через плечо в зеркало.

— Ты порочишь нас! Отца исключат из партии, сестру уволят из комсомола. Люди все узнают. Они будут шептаться за моей спиной. Куда ты идешь? Кто тебя там ждет? Опять этот гой?

Отец сидит в комнате, читает газету и поверх очков поглядывает на причитающую жену.

— Оставь ее, Лиля. Пусть идет куда хочет.

— Она смерти нашей хочет, — не унимается та.

Роза видит в зеркале Валечку молодую и рыжую, в веснушках, с вызовом говорящую кому-то:

— А скольких родит, всех возьму. Все мои будут.

«Одного хватило», — усмехается Роза и протирает рукой запотевшее зеркало, в котором уже нет никого, кроме нее с отекившим лицом от вчерашнего перебора «Хеннесси».

Помянуть Валечку приехала Поля и зашли несколько соседок, деловито набравших каких-то безделушек, разбросанных по квартире. Мебель и посуда никому не приглянулись: своего хлама хватает. Отсидев положенное время за столом с небогатым угощением, они удалились. Вот и остались от Валечки одни фотографии. Надо же, сколько детских, про которые Розка забыла: их дом в Би-

робиджане, молодые мама с папой сидят на диване их единственной комнаты, — как они все там жили? — идиот в шубке с лопаткой во дворе. Ни на кого не смотрит, насу-пленный, говорить начал поздно, лет в пять, да и сейчас не поймешь, что несет.

Поля взгрустнула, глядя на подругу, перебирающую фотографии. Из сочувствия она принялась расспрашивать и удивляться: какая в молодости Валечка была интересная, какой папа был у вас видный мужчина. Это ты, Роза? Прямо Бриджит Бардо.

— Надумала, что будешь делать? — наконец спрашивает она.

— Ума не приложу, — Роза тянется за сигаретой, но пачка пустая.

— Не хватит тебе дымить? Хочешь рак легких получить?

Роза отмахивается. Наплевать. Всю жизнь курила, чего уж сейчас опасаться рака легких. Валечка никогда ничем не болела, а пришел ее час, и она тихонько померла.

Оставаться в этом доме тягостно. Аутист подвывает где-то в глубине квартиры. Говорят, им не свойственны простые человеческие чувства, тогда почему он воет, скорее, плачет на свой манер? Слышать его вой невыносимо.

— Надо бы ему лекарства дать успокоительного. Есть у тебя?

Роза, словно не услышав, продолжает:

— Не понимаю, как она с ним справлялась. На кладбище рот разинул, ходит вокруг могил, камни с плит собирает, ну, знаешь, там оставляют по обычаю. Вот, говорю, здесь похоронены бабушка с дедушкой. Ноль внимания. Камни, говорю, здесь нельзя кидать. Ты тревожишь умерших.

— Ну, ты это ему про умерших... думаешь, он понимает?

— Я, честное слово, не знаю, что он понимает, что — нет. Как урну полупустую стали в стенку заделывать, — са-

ма знаешь, что с прахом стало, — он в плач. Подвывает и раскачивается. Подвывает и раскачивается. — Роза показывает эти раскачивания, сидя на стуле. — Жуть. Ныл-ныл, сердце рвал мне на части. Еле увела. Мне на работу надо выходить. Куда его? Валя-то с ним сидела на пособиях, да и я подкидывала. Теперь уж все.

Жизнь с больным сыном, которого она и своим-то не считала, предстала перед ней со всей неотвратимостью. Что тут скажешь? Вот и Поле сказать нечего, она просто собирает тарелки со стола и уносит на кухню.

Вернувшись, она, наконец, спрашивает то, что ее всегда интересовало:

— И как это Валечку угораздило? Она, вроде, и замужем-то никогда не была... Конечно, это не мое дело, но где отец Алеши?

— Был один мужик, да пропал. Обыкновенный непутевый гой. Кто его знает, где он. Может, уже давно и в живых нет. В той глухомани кто только не пропадал. Тридцать четыре года без него обходились, а вот как мне без Валечки быть, ума не приложу. Не могу я его долго выносить, понимаешь? Иду в ванную, он стоит под дверью, то ходит за мной по пятам, а то сидит часами не шелохнувшись. Тут взялся рисовать на стенке. Что это, спрашиваю? Чикен, говорит. Что за чикен такой?

— Может, цыпленок или курица?

— Точно! Он же знает кое-какие английские слова, — обрадовалась чему-то Роза. — Я ему как раз напомнила про цыпленка из детской книжки.

— Слушай, — осторожно, словно мурлыкая, начала Поля, — может, его в какое учреждение поместить? Ну не для совсем сумасшедших, а для таких как он.

Тут голос ее окреп, в нем зазвучали уверенные нотки:

— Тебе работать надо, как его дома одного оставить? Да и вообще, ты же еще молодая женщина... Это Валечке была расплата за грехи, а тебе за что?

— Она не хотела его никуда отдавать, я ей обещала.

Но что-то в интонации подруги подсказало Поле, что та уже все решила, и что ей нужно только одно, чтобы Поля ее как бы окончательно убедила в том, что выбор этот вынужденный и неизбежный.

— Милая моя, тут других вариантов нет и не будет. Обследовать заново нужно, может, диагноз новый поставят. Это же не ваш Биробиджан, это все-таки Америка.

— Да, Полюшка, это все-таки Америка, — глубоко и с облегчением вздыхает Донна Роза.

Женщина добрая улыбается, Алеша, бери таблетку, дает мне воды в бумажном стаканчике. Розка говорит, пей и проглоти таблетку. Мне никак. Не хочу. Женщина говорит, надо проглотить, ты что никогда чай не пил. Все я пил. Ну вот и молодец, говорит. Мне все равно страшно. Чего тебе страшно, Розка говорит. Ехать туда страшно. Туда маму закатали и сожгли. Нет-нет, все говорят. Ты сюда ляжешь и поедешь поспать немного в той белой трубе. Никто тебя сжигать не собирается. Доктору надо узнать, какое тебе лекарство новое дать. Не хочу нового лекарства. Не мотай так сильно головой, Розка говорит, ударишься. Мне все равно страшно, но спать захотелось. Лег и поехал куда-то. Еду. Еду. Глаза сами закрылись, человечков нет, а есть чикен на лапках. Он идет, идет, идет.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

Эссе

И. Бунин «Поздний час»

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо, час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Отправляюсь и я. Сначала — к мосту через сонный городок, не доросший до статуса города. Никто не попадетсЯ мне навстречу, разве что скользнут фарами несколько промчавшихся машин. У моста светлее, там фонари.

Величественная конструкция, стягивающая два берега, проступит сквозь темноту. Я увижу проход медленных барж со шлейфом расходящихся волн, услышу их переплеск в речных камнях, услышу гудки дальних лайнеров и шорох вспугнутых птиц. То там, то здесь мелькнут огоньки пронырливых катерков, торопливо творящих свой ночной труд. Река поведет меня на север, то расширяясь, то сужаясь, обтекая попавшиеся на ее пути острова.

Растаяв, отступит душная июльская ночь. Осень придет к истокам реки. Я увижу выставленные на берег яхты в чехлах. Здесь никого, кроме горластых чаек. Белое на сером. Листва опадет, обнажив ветви и стволы. Склоны покроются кружевом голых деревьев. И только два красных пятна нарушат безлюдный блеклый пейзаж: забытые кем-то детские качели.

А. Пушкин «Станционный смотритель»

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих.

Став маленьким и жалким, смотритель воспринимал одиночество как должное, не желая свидетелей нового своего состояния, наполненного предчувствием скорой смерти. Дни и числа путались в его голове, как и времена года, которые он не то чтобы не различал, а проживал не замечая. Смутные обрывки видений беспомощно толкались в памяти, силась вытянуться в единую нить воспоминаний, но никак не вытягивались. То виделась ему прогулка с доченькой, ее липкая от конфеты лапка в его руке, бант на макушке подпрыгивает от каждого шажка, отдается перебоем в старом сердце. А вот скамейка в Таврике, где он сидит, пока она копает лопаткой в песочнице. Куда теперь? Домой? Вот он уже бредет по улице имени убиенного воина, где в конце на небесном фоне высится кружевной свадебный торт. На свадьбе дочери он не был, да не было и свадьбы. Тогда к Литейной. Вот набежавший ветер срывает с него шляпу, которую он силится поднять, но останавливает преследование, хватая воздух жабрами, как рыба на разделочной доске. Мальчишка догоняет шляпу и, смеясь, протягивает ему банку монпансье. Со вкусом валидола тает леденец.

Куда теперь? Пойдем, пойдем туда! Там место есть для всех скорбящих!

Смотритель, завернувшись в одеяло, не вытирает слез: «Я отслужил молебен “всех скорбящих”. И я скорбящий. Я скорбящий. Я думал, у меня есть дочь».

В. Набоков «Защита Лужина»

В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на Караванной, а оттуда, окружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, неся по направлению к школе...

...Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару ... Наконец он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубыми тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил.

Учительница географии Аброськина входила в класс, неся в руках рулон «Физической карты полушарий». Кроме фамилии в памяти остался ее скрипучий голос, но совершенно не сохранилось повествование о протяженности и глубине голубых пятен, по которым она водила указкой. Все остальные просветительницы сбились в одноликую птичью стаю, не долетевшую до тихих берегов воспоминаний.

Был еще учитель физкультуры, разгуливавший по коридорам школы в тренировочном костюме, обтягивающем его выпирающий живот. Любовь к построениям — направо-налево-кругом — выдавала в нем бывшего военного, впрочем, вполне добродушного и снисходительного к нашему неумению «держать шаг» и «тянуть носок». А вот встрепанного и всегда опаздывающего учителя пения — мы дружные ребята, не ссоримся совсем, мы дружные ребята, скажите это всем — мне легко представить несущимся огромными шагами по направлению к школе с портфелем под мышкой. Он бурно врывался в актовый зал, умирал заждавшийся класс взмахами рук и, плюхнувшись на стул перед исчерканным пианино, наполнял своды бравурными звуками.

В школьном архиве хранились фотографии классов от первого года обучения и до выпускного — наглядное пособие по взрослению учеников и старению учителей. Долговязых обычно ставили позади всех, девочки с бантами занимали второй ряд, коротышки усаживались в первом ряду, облепив с двух сторон принарядившуюся учительницу. В каждом классе имелся свой отличник, пара неподдающихся обучению двоечников, ябеда и красавица, в которую был влюблен какой-нибудь безнадежный хулиган. Не могу припомнить ни одного шахматиста. То безликое учебное заведение, стоящее на Сергиевской, никогда бы не всплыло в памяти, не окажись оно поблизости с домом рыжеволосой тети, научившей играть в шахматы юного Лужина.

Маршрут прогульщика урока географии удивительно совпал с топонимикой мест, связанных с моей жизнью: каток в Таврическом саду, коммуналка на Захарьевской, парикмахерская на Караванной.

На Сергиевской было два дома, где бородатые атланты, показавшиеся мальчику Лужину стариками, поддерживали балкон. Мой выбор пал на угловой с Воскресенским

проспектом, грязно-сливового цвета с подобием росписи на стеклах входных дверей. Был там и двор с убеленными голубями помойными баками, мимо которых мне пришлось пробираться, чтобы зайти в затхлый подъезд. Скрипучий лифт с хлопающей дверью дополнял убогий интерьер коммунальных трущоб. Где-то там, в глубинах другого века нарядная, легкая, смешливая рыжая тетя расставляла шахматы на развернутой доске: «Здесь белые, там черные... Вот это — офицеры... А это — пушки, по краям...»

В тех глубинах маленький Лужин еще не знает о троечном повторении ходов своей жизни: детство, школа, рыжая тетя. Повинуясь автору, он будет чертить в тетради параллельные линии, замирая от попытки представить необозримую бесконечность, в которой им суждено пересечься. И где-то там же, в необозримой бесконечности, проплывет учительница географии Аброськина, воскреснут адреса моего детства, и я войду в подъезд с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон.

Елена Шварц «Еще рассказик о маме»

В последние уже годы в разваливающемся БДТ маме было тяжело. Она часто выпивала в театре после работы. И вот раз она приходит подшофе. Мы взаимно не нравились друг другу пьяными. У меня в гостях был один старый приятель. Мы с ним выпили, показалось мало, мы поехали на машине в магазин за водкой, я за рулем. Мама как раз шла домой и увидела эту картину, но остановить не могла. Машина, выписывая вензеля, доехала до магазина, и мы вернулись. Мама стояла у ворот, ждала и, увидев нас, облегченно, но страстно стала говорить в пространство: «У меня дочь пьяница. У меня дочь пьяница». Мимо шла грязная толстая бомжиха, она остановилась, оглядела её и сказала: «На себя посмотри». И мама, засмеявшись, развела руками: «А ведь правда, правда».

Я не была знакома ни с Леной, ни с ее мамой, но с этим рассказиком меня довольно много связывает. Странно или нет, но я словно вижу стоящую у ворот дома маленькую, покачивающуюся и что-то причитающую женщину. Скорее всего, дело в том самом доме номер двадцать три, что по улице Каляева (вечный адрес для меня), хотя сейчас она называется по-другому. Он был и всегда будет «Египетским» со всеми атрибутами египетского антуража, так что стояла Дина Морисовна неподалеку от статуи бога Ра, охранявшего загаженный по тем временам подъезд дома, и глядела на выписывающую кренделя машину, за рулем которой сидела ее дочь. Кстати, только в очень большом подпитии можно было поехать за водкой в гастроном на углу, идти до которого от «Египетского дома» минут десять, не больше. И все-таки, дело не в этом, а в той самой бомжихе. Не была она ни толстой, ни грязной. Она и бомжихой не была. Она была дворничихой по имени Женя Чехова и запомнилась мне так же отчетливо, как и сам «Египетский дом», к лестницам и двору которого она была приставлена. Маленькая, в вечном платке и стеганом ватнике, она отличалась от своих товарок милостивым лицом и ясными голубыми глазами. В её речи угадывался след какого-то приглушенного интеллекта, иначе, как бы она могла сказать Дине Морисовне такую точную и сакральную фразу. Она и себя называла с горькой иронией «мать-одна ночка». В начале девяностых, когда город уже начал разваливаться, мы встретились с ней в том самом гастрономе на углу. Гастроном был пуст. Вот тогда-то она мне и сказала: «Ведь можно уехать куда-нибудь, переждать. А потом вернуться с деньгами». Ее рассказа о ком-то, вернувшемся «оттуда» с деньгами, я не запомнила.

Прошло уже больше тридцати лет, я так и не вернулась, но вдруг она предстала в моей памяти: «На себя посмотри», хотя, может, это была вовсе и не она.

Хулио Кортасар
«Рукопись, найденная в кармане»

Впрочем, кто знает, о чем думают в этой толкотне люди, входящие и выходящие на остановках, о чем, кроме того, чтобы скорее доехать, думают эти люди, входящие тут или там, чтобы выйти там или тут, люди совпадают, оказываются вместе в пределах вагона, где все заранее предопределено, хотя никто не знает, выйдут ли мы вместе, или я выйду раньше...

Хулио Кортасар «Рукопись, найденная в кармане»

Почему мне пришло на ум отправляться каждое утро в город на автобусе, да еще в час пик? Может, потому что стеклянная будка остановки была видна из моего окна? По утрам там всегда многолюдно, автобусы подходят часто, люди послушно выстраиваются в очередь на посадку. Это начало маршрута, автобус приходит пустым. Мягко и плавно раскрывается входная дверь. Если идет дождь, люди поспешно закрывают зонтики, успевают кивнуть знакомым, перекинуться парой слов с водителем, затем спешат занять привычные места. Потом дверь закрывается, и автобус уходит, оставляя опоздавших дожидаться следующего. В час пик ожидание длится недолго, всего десять-пятнадцать минут, но даже за это время успевает накопиться небольшая очередь. В очереди попадают люди с отрешенными, словно обращенными в себя, лицами. О чем они думают? Скорее всего, о чем-то тривиальном. Рассевшись, все достают телефоны. Молодые тут же начинают листать TikTok, какая-нибудь девушка подкрашивает реснички, глядя в телефон, как в зеркальце. Мужчины. Что интересует мужчин? Новости? Может быть. Но скорее счет пропущенной вечером игры, прогноз котировок на фондовой бирже, мейл, Вотсап, Телеграм или заскок украдкой на последнее интимное видео. Быстрые ответы на звонок.

Длительных разговоров по утрам обычно не бывает. С газетами попадаются всё реже. Книг в руках нет ни у кого. Некоторые дремлют. У этих усталые лица уже с утра.

Мое любимое место у окна слева по ходу автобуса. Сидящие рядом всегда погружены в свои дела, но я чувствую их тепло. Наверное, это то, что мне нужно. Я помню все остановки, что не так уж сложно, учитывая частые поездки. Вообще-то от моего дома до Нью-Йорка можно доехать минут за сорок, но, подбирая пассажиров, автобус крутится по улицам нескольких городков. Чем ближе к конечной остановке, тем больше в него набивается народу. Вот люди уже стоят в проходах. Иногда здесь вспыхивают короткие разговоры, чаще всего переговариваются знакомые. Я всегда смотрю в окно. Движущиеся картины завораживают. Самая любимая — река. То ленивая, чуть шевелящаяся под ранними лучами солнца, то темная, выплескивающая волны на берег. Иногда я могу задержать взгляд на неторопливой барже, или чайке, воссевшей на фонарный столб, или урне, опрокинутой ветром. Возле паромы несколько человек торопливо выскочат из автобуса и побегут к трапу. Кто-нибудь на бегу поправит спадающую с плеча лямку сумки. У светофора мелькание вывесок прервет неторопливый старик с собакой.

Зимний пейзаж уныл, его не оживляют горящие с ночи витрины. Зато весна одаривает разнообразием оттенков красного с зеленым, а осень — ликующей охрой городских парков. Въезд в туннель означает скорое завершение поездки. Кажется, он прорыт под рекой. Поначалу, пока я не привыкла, меня это пугало, мне казалось, что автобусу тоже хочется выбраться из туннеля как можно скорее. Иначе зачем он несется с такой скоростью вдоль кафельных стен, освещенных искусственным светом. Клаустрофобия отступает, как только автобус вырывается из туннеля и взбирается по эстакаде к своей конеч-

ной остановке. Мне нравится слово «терминал». За ним тянутся термиты, термос, теремок... На вокзале каждый снова сам по себе.

С верхнего этажа мне видны люди, спешащие к выходу. Они напоминают растекающиеся молекулы или рассыпанные по полу бусинки. На часах без двадцати девять. Кто-то успевает забежать за стаканчиком кофе тут же на вокзале, кому-то уже не до этого. Спины, которым я гляжу вслед, кажутся мне озабоченными. Обычно так говорят о лицах, но в это время дня лица сливаются, я не вижу отдельных черт, зато могу разглядывать опережающие меня спины: плащи, куртки с хлястиком и без; оторвавшийся пояс тянется за кем-то по полу; джинсы, обтягивающие зады и джинсы, висящие на задах; юбки узкие с разрезом, в котором мелькают стройные ножки на каблукках, и юбки, раздувающиеся под порывом набежавшего ветерка, как у Мерилин Монро в каком-то фильме; стоптанные каблукки старых туфель под спустившимися ниже пояса брюками; кроссовки всех видов и даже шлепанцы.

Избавиться от навязчивого темпа Мидтауна можно, если повернуть к Гудзону и пойти дальше вниз. Здесь спокойнее, меньше спешащих людей. Попадаются улочки с булыжной мостовой, столики на тротуарах, как в Европе. Одно кафе у меня на примете. Я люблю заходить сюда. Девушки за стойкой думают, что я живу или работаю неподалеку. Иногда мы говорим о погоде или о планах на выходные. Какие у меня могут быть планы? Я просто пожимаю плечами, мол, ничего особенного. Впрочем, задав вопрос, никто не ожидает ответа. Здесь есть несколько за-всегдаев. Один всегда сидит с открытым ноутбуком за столиком у окна. Пару раз я пробовала подглядеть, что у него на экране. Ничего не поняла. Какие-то иероглифы. Кажется, он китаец. В летние нежаркие дни он выходит

с компьютером и динамиком в садик напротив. Включает, довольно громко, музыку танго и танцует, вернее, перебирает ногами, стоя на месте. Иногда я ловлю себя на мысли, что хотела бы потанцевать с ним, но, наверное, ему это не нужно.

В этом кафе у меня есть «свой» столик, откуда мне хорошо видна не только улица, но и все посетители. Здесь чисто и спокойно, обстановка немного «ретро». На стенах развешаны фотографии старого Манхэттена, у двери — стойка для зонтиков и деревянная вешалка для шляп и пальто. Кто-то даже читает газету. Иногда я вижу высокого пожилого джентльмена в галстукe, завязанном мягким бантом, и манишке. Довольно часто он засыпает, откинувшись на спинку потертого кресла. Есть у меня и любимицы. Хрупкая старушка с ходунками появляется в компании с дородной девушкой. У старушки крашенные волосы и слегка нарумяненные щеки. Если одна — кокетливая модница, то другая выглядит довольно неопрятно. Девушка, должно быть, давно махнула рукой на свою внешность, возможно, из-за того, что она чересчур толста. Это ей нисколько не мешает покупать пирожное с невероятным количеством крема. Подруги весело и шумно рассаживаются за каким-нибудь столиком, кажется, у них нет предпочтений, долго и вкусно пьют кофе, потом принимаются за кроссворд. Когда старушка устает, девушка извлекает из потрепанной сумки книжечку с игрой sudoku. Отгадывание цифр доставляет ей видимое удовольствие. Им так хорошо вдвоем, что я им завидую. Возможно, все бы изменилось, заговори я с ними, но я застенчива, поэтому просто ухожу.

Однажды неподалеку от того кафе разместился бездомный человек. День был жаркий, он спал прямо на тротуаре у стены, выставив пустой бумажный стаканчик для милостыни. «Ну вот, кому-то хуже, чем мне», — я опустила

доллар в стаканчик. Немного замешкавшись на переходе, оглянулась на спящего. К нему неторопливо, опираясь на палочку, направлялся другой бездомный. Он был босой, с синими опухшими ногами. Эти ноги остановились возле бумажного стаканчика. Плакал мой доллар. И тут произошло невероятное: из какого-то потаенного кармана босой бездомный извлек доллар и, покачав головой, опустил его в тот самый стаканчик. Спящий так и спал, а босой, с трудом переступая опухшими ногами, медленно удалился. Возвращаясь домой в пустом автобусе, я улыбалась.

Ф. С. Фицджеральд «Великий Гэтсби»

Я только два раза в жизни напивался пьяным...

Так получилось, что в 92 году я оказалась в маленьком городишке, расположенном в двух часах езды от Нью-Йорка.

Американская провинция скучна, как любая другая. Беленькие домики с зелеными лужайками, бассейны за заборами с невидимыми купальщиками, испещренные солнцем улицы с редким пятном тени от раскинувшейся листвы платана. Жара. Ни одного прохожего. Унылая дремота, одолевающая с наступлением сумерек. Скучища.

Местом моих прогулок стало шоссе, вдоль которого тянулась аллея, приведшая меня однажды к небольшому парку, в глубине которого виднелась усадьба. Я обрадованно зашагала по дорожке, усыпанной мелким гравием. Через несколько минут ко мне подкатил охранник. Private property. No trespassing. Пришлось убраться. В местной библиотеке я узнала, что в той усадьбе лечилась от алкоголизма Зельда Фицджеральд. Так что лечебница могла бы стать единственной достопримечательностью городишка, если бы его обитатели знали, кто такая эта Зельда.

Но дело не в этом, а в том, что мне тут же вспомнился раздрызганный ленинградский троллейбус, войдя в который, кто-то поведал о том, что он пьян, как Скотт Фицджеральд.

Никогда-никогда-никогда американское «I drunk like a skunk» не заменит мне изощрённости этой русской фразы.

Эрик-Эмманюэль Шмитт «Оскар и Розовая дама»

— Мне кажется, Бабушка Роза, что люди изобрели какую-то иную больницу, чем на самом деле. Они ведут себя так, будто в больницу ложатся лишь затем, чтобы выздороветь. Но ведь сюда приходят и умирать.

— Ты прав, Оскар. Думаю, что ту же самую ошибку совершают и по отношению к жизни. Мы забываем, что жизнь — она тонкая, хрупкая, эфемерная. Мы делаем все, чтобы казаться бессмертными.

Дорогая бабушка Роза, разве можно жить, помня о смерти? Двое моих знакомых рискнули быть откровенными, сказав, что не боятся смерти. Они умерли, так и не открыв секрета своего бесстрашия. Дело тут, по-моему, в отсутствии воображения. Можно представить мир, в котором тебя нет. Но как представить себя, когда тебя нет? Иногда, в последнее время все чаще, я просыпаюсь ночью от внезапной мысли о том, что умру. Как странно, что она приходит во сне, хотя в этом, наверное, есть определенный смысл. Во сне человек беззащитен. Дневные заботы, бабушка Роза, уводят нас от рассуждений об эфемерности и хрупкости жизни. В самом деле, ты или хлопчешь, или предаешься удивлению и печали. Бывают, конечно же, счастливицы. Это те, которые отгоняют мысль о смерти. Им некогда. Со временем усталость возьмет свое и у них. В конце концов, неизбежность уравнивает нас.

Когда мы впервые узнаем о том, что умрем? В четыре года моя дочка, выйдя во двор с лопаткой покопать высыпавший за ночь снежок, вдруг что-то заговорщицки зашептала соседской малышке, копавшей рядом с ней. «Бабушка! Бабушка! — закричала та. — Она сказала, что я умру!» Помню застывшую паузу и бабушку, кинувшуюся уверять внучку в бессмертии. Накануне у нас умер волнистый попугайчик. Мертвое тельце взывало к объяснению. Пришлось говорить о смерти, которая придет ко всем, но очень и очень нескоро. И все же воображение ребенка было встревожено, росток тайны исчезновения проник в его душу. Со временем он разрастется в дерево печали, впрочем, дерево может вырасти вовсе не печальным, а каким-нибудь другим.

Но, дорогой Оскар, как рано тебе открылось то, что знают далеко не все дети. Ты задаешь вопрос, на который не может ответить ни один взрослый. Без смерти не бывает жизни, скажет кто-нибудь из них. Думаю, тебя не успокоит этот довод. Еще взрослые люди могут сказать, что смысл наших жизней понятен только Богу, но, если это и так, вряд ли он пришлет тебе письмо с объяснением. Вполне возможно, что умереть ничуть не страшнее, чем уснуть, но кто это знает наверняка? Я вот думаю, старики больше готовы к смерти, чем дети, но что, если я ошибаюсь? Одна моя знакомая старушка всё допытывалась у меня, почему она должна умереть. Я сказала, что на небе она встретится с умершим сыном. Конечно же, я ничего не знала об этой предполагаемой встрече, но так говорят, чтобы успокоить умирающего. Кажется, моя ложь примирила ее со смертью. В сущности, мы не знаем, что это такое. Что, если ожидать ее как таинственную встречу, уготованную только тебе? Но как мучительна мысль о невозможности поделиться своим открытием с другим человеком.

Стивен Спендер «Мир внутри мира»

*Когда мне было лет шестнадцать, отец мне сказал:
«Научись жить так, чтобы ждать своей смерти,
как юноша ждет свою невесту, ждать, чтобы она при-
шла, прислушиваться к малейшему шороху, малейшему
знаку о том, что грядет невеста, идет возлюбленная,
та, с которой можно сродниться на вечность...»*

Если я умру, кто будет смазывать дверные петли, чтобы они не скрипели, закрывать окна во время дождя и выключать после тебя свет в ванной? Кого будут раздражать твои ночные вылазки к холодильнику, твое осторожное разворачивание свертка с колбасой, отложенной на завтрак? Кто будет натягивать носки на твои распухшие ноги и завязывать шнурки на ботинках? Кому ты скажешь: «У тебя хорошее настроение, надо бы его испортить?» От кого ты будешь прятать плоскую четвертушку водки, чтобы потихоньку отхлебывать из горлышка, как бы невзначай зайдя в свою комнату? Кого ты будешь спрашивать: «Правда, я красивый?» Кто будет делать всё, что я забыла перечислить? Кто будет тебя ревновать к памяти обо мне?

Если ты умрешь, я не знаю, что буду делать.

СОДЕРЖАНИЕ

Агамемнон.....	5
Тиберий на Родосе.....	55
Тиберий на Капрее	75
Цыпленок пришел в Куд-кудаки.....	133
Ответный ход. Эссе.....	145

Літературно-художнє видання
СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

Алла ДУБРОВСКАЯ
А Г А М Е М Н О Н

(Російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 84x108 ^{1/16}. Зам. № 2376
Папір 90 офсет. Ум. друк. а. 10
Гарнітура «Calibri».
Підписано до друку 25.02.2026 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



АЛЛА ДУБРОВСКАЯ — родилась в Чите, детство и юность провела в Царском Селе и Ленинграде, в настоящее время (с 1992 года) живет в Нью-Йорке. Прозаик. Автор романов «Одинокая звезда» и «Апельсиновое дерево», многочисленных рассказов и мемуарной прозы, печатавшихся в журналах «Крещатик», «Интерпоэзия», «Новый берег» и др. Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова, 2022 (США).



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА**

